Бѣлогвардейскій романъ
Ненависть
П. Краснов

**Петр Николаевич Краснов**

# Ненависть

Серия «Белогвардейский роман»

*Издательский текст*
*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6022957*
*Ненависть: Вече; М.; 2007*
*ISBN 978-5-9533-2163-1*

## Аннотация

Издательство «Вече» представляет новую серию художественной прозы «Белогвардейский роман», объединившую произведения авторов, которые в подавляющем большинстве принимали участие в Гражданской войне 1917–1922 гг. на стороне Белого движения.

Известный писатель русского зарубежья генерал Петр Николаевич Краснов в своем романе «Ненависть» в первую очередь постарался запечатлеть жизнь русского общества до Великой войны (1914–1918). Противопоставление благородным устремлениям молодых патриотов России низменных мотивов грядущих сеятелей смуты – революционеров, пожалуй, является главным лейтмотивом повествования. Не переоценивая художественных достоинств романа, можно с уверенностью сказать, что «Ненависть» представляется наиболее удачным произведением генерала Краснова с точки зрения охвата двух соседствующих во времени эпох – России довоенной, процветающей и сильной, и России, где к власти пришло большевистское правительство.

# Содержание

Ненависть как двигатель революций… 4
П.Н. Краснов 8
Часть первая 8
I 8
II 11
III 14
IV 16
VI 25
VII 26
VIII 27
IX 31
X 40
XI 50
Конец ознакомительного фрагмента. 54

# Петр Николаевич Краснов
# Ненависть

## Ненависть как двигатель революций…

В новом веке книгоиздание, исчерпав запас дежурных исторических тем, вновь обратилось к позабытому творчеству русской военной эмиграции, и на свет Божий один за другим стали появляться переиздания произведений Деникина, Краснова, Лукаша, Головина и других. Это говорит, собственно, о неугасающем интересе читательской аудитории к летописцам двух ярких эпох, к мнению которых мы продолжаем обращаться и по сей день.

Время наше бедно на добротно опубликованные материалы, с трудом пробивающие дорогу к нам сквозь толщу минувшего, войны и катаклизмы XX века. В свете этого даже сегодня знаменитые публицистические труды Деникина, Масловского и Головина читаются как увлекательные военные саги. Не обойден вниманием и Петр Николаевич Краснов, чьи романы постепенно возвращаются, дабы обрести на родине новую жизнь.

Наследие Петра Николаевича Краснова значительно и, нужно признать, далеко не равноценно. Однако в качестве своеобразного феномена его объемные романы-эпопеи давно получили признание у ценителей литературы, прочно заняв свое место в истории эмиграции. Эти произведения – попытки тяготевшего к писательскому труду генерала остаться в памяти потомков в качестве великого пророка и печальника русской жизни до и после 1917 года. Наивность сюжетов и надуманная простота образов его героев и героинь часто не позволяют читателю по-настоящему увлечься сюжетной канвой книги, а диалоговая многословность и монотонное чередование действий и событий романа могут даже утомить слишком нетерпеливых. Справедливости ради надо отметить честные попытки автора возвыситься до масштаба толстовских «Войны и мира», что каждый раз оказывается невыполнимым из-за несоизмеримости дарований классика и его эпигона. Неплохой очеркист, генерал Краснов каждый раз ставил перед собой сверхзадачу – овладеть жанром романа и, невзирая на неудачи, настойчиво стремился воспитать в себе романиста.

Шли годы, и публикуемые с завидным постоянством романы не привлекали к себе особого интереса. За то время, пока Краснов старался отточить свое мастерство и даже замахнулся на трилогию в духе писателей «второго ряда» последней четверти XIX века, литературная традиция эмиграции уже претерпевала стремительные изменения. Новое поколение читателей, переболевшее произведениями Гарина-Михайловского в далеком детстве, ожидало от современной литературы не благообразности «Детства Тёмы», но кратких по форме и ясных по содержанию жанровых произведений. У читающей парижской, берлинской и харбинской публики все более входило в моду краткое, эмоционально сильное повествование, на страницах которого невозможно было бы найти и тени поучительной назидательности XIX века. Личности главных героев зачастую находились вне какой-либо авторской оценки, равноудаленно балансируя на грани добра и зла. Таковыми были бестселлеры эпохи, но такова была и жизнь.

На сцене появилось целое поколение молодых писателей – всех этих бывших поручиков и штабс-капитанов Гражданской войны, – и оказалось, что и о ней можно было писать иначе, чем делал это Краснов. Обходиться без утомительных преамбул, используя минимум авторских отступлений, при этом в двух абзацах открывая перед читателем всю панораму русской трагедии 1917 года. Так, созданный в Шанхае по слухам и «показаниям очевидцев», «Барон» (Унгерн. – *Авт*.) Бориса Суворина породил куда больше интереса и непрекращающихся споров в литературном сообществе русского зарубежья, чем иные фолианты Крас-

нова. И все же стоит сказать о значимости многолетних творческих усилий Петра Николаевича, невольно ставшего для читателей XXI века экскурсоводом по сложному отрезку исторического пути, пройденного нашей страной «между двух революций».

Это время все еще вызывает споры и почти всегда оказывается в центре полемики между сторонниками разных путей развития общественной жизни в России. И сегодня еще значительное число людей сознательно или в силу ограниченности информации пытается оспаривать борьбу за судьбу Российской державы, в защиту которой объединились немногочисленные единомышленники в декабре 1917 года под знаменами Белой гвардии. Если ставить целью понимание исторического контекста той эпохи, не стоит заострять внимание на особенностях Краснова-художника, отдавая должное таланту исторического очеркиста. Именно ему на страницах своих романов удалось воссоздать всеобъемлющие картины русской смуты и мрачный период становления советской власти.

В этой связи роман «Ненависть» представляется наиболее удачным с точки зрения охвата двух соседствующих во времени эпох – России довоенной, процветающей и сильной, и России, где к власти пришло большевистское правительство. Композиция книги проста. Автор стремился запечатлеть жизнь русского общества до Великой войны (1914–1918), противопоставить благородным устремлениям молодых патриотов низменные мотивы грядущих сеятелей смуты – революционеров, показать их в развитии и обрушить на читателя неприглядную картину результатов разрушительной деятельности большевиков после установления советской власти. Семьи главных героев терпят крах всех своих надежд, становятся свидетелями разрушения державной России и обречены жить в стране «победившего социализма».

Воображение автора порой обгоняет жизненные реалии. Так, по сюжету часть его благородных героев «уплотняют», изымая излишки жилой площади в Ленинграде (!) 1930 года. Выселять, передавать квартиры репрессированных новым владельцам в то время было обычным для судебной практики СССР делом, но вот пик пресловутых «уплотнений», по некоторым сведениям, пришелся все же на предыдущее десятилетие. Сильная сторона произведения Краснова заключается прежде всего в попытке показать в развитии ростки нигилизма и социализма, превосходно описанные до него Тургеневым и Достоевским.

Внуки Евгения Базарова и дети Петра Верховенского в лице социалиста Володи в романе «Ненависть» позволяют автору завершить линию эволюции большевизма. Жаль только, что Володе автор противопоставил добродетельного, но совершенно безликого Гурочку (Гурия), вызывающего не больше читательских симпатий, чем верстовой столб. Подобные авторские неудачи принижают художественную ценность самого романа, но не умаляют его познавательного значения. Роман только бы выиграл, если бы автор отказался от патетических сцен с обилием восклицательных знаков и плакатных сентенций, с которыми герои обращаются друг к другу, особенно в конце книги.

Для того чтобы по-настоящему оценить роман, необходимо прежде всего отбросить какие-либо попытки судить о нем по всякого рода отступлениям, когда в уста своих героев автор пытается вложить, казалось бы, не к месту и без повода возникающие монологи, этакие гневные филиппики по поводу окружающей действительности. Создается впечатление, что на всем протяжении романа происходит нескончаемый политический митинг, с сопутствующими ему прениями сторон и одержимостью выступлений. Вот и молодые женщины, живущие в СССР, героини Женя и Шура, глядя на пасторальные воды Финского залива, никак не могут удержаться от необъяснимой патетики, энергично проклиная большевиков и суля им неизбежную гибель.

К сожалению, происходит это оттого, что Краснов-политик, никак не может оставить помещенных Красновым-литератором в романтические обстоятельства персонажей наедине с самим собой даже в сценах романа. И снова у читателя может возникнуть ироничное пред-

положение, что автор просто не знает, о чем говорят в подобных обстоятельствах обычные люди.

Роман, пронизанный лозунгами, утверждениями и, повторимся, перечислениями, уместными для манифестаций и передовиц полевых газет, не может претендовать на серьезное к себе отношение. Потому, наверное, современники Краснова, литературные критики русского зарубежья, не спешили реагировать на каждую его книгу, выходящую из печати. Ибо, прочитав одну, можно было с уверенностью предположить, что и следующая окажется подобной.

Роман «Ненависть» перекликается с более известным романом Краснова «Понять – простить». В последнем нет столь пронзительных сцен истребления православного духовенства, и «советские» нравы показаны вскользь, скорее чтобы выявить положительных героев. Необходимо выделить и еще одно достоинство романа. Сопоставляя его с романом «Понять – простить», можно смело сказать, что произведение отличает более динамичное повествование, где действие периодически оживляется сценами рискованных приключений главных героев. Чего стоит один только «побег» Гурочки в шерстяных носках из дома от постоянно бродящих в поисках новых жертв малосимпатичных пролетариев!

Следует обратить внимание и на столь неоднозначное название произведения. Что этим пытался сказать автор? Название романа трудно осознать сразу, ибо и у социалистов до Великой войны, и в мирном диалоге Шуры и Жени ненависть присутствует в качестве состояния, которое владеет этими, казалось бы, антиподами. Социалисты ненавидят историческую Россию, Святую Русь, стремятся установить царство сатаны, что констатирует в одной из глав сам автор. Дамы также ненавидят окружающую действительность и главных виновников этого кошмара – большевиков, желая им скорейшей гибели.

Ненависть, как доминанта в поступках, мыслях и чаяниях положительных и отрицательных героев, является, судя по всему, главной движущей силой событий, приведших к низвержению самодержавия и установлению «самозваной власти». Большевики, ненавидя, разрушают, но и антиподы их испытывают тождественные чувства. Эти взаимно ненавидящие друг друга слои общества уже породили и первую, и вторую, и третью «революции», посеяли семена смуты и раздора, разожгли пожар жестокой Гражданской войны и рассеяли по свету многие и многие поколения, вынужденные десятилетиями проживать вдали от родных берегов.

Во времена, когда Краснов работал над своей книгой, это противостояние все еще продолжалось. Белая эмиграция жила ожиданием нового крестового похода против большевизма. Советская власть не оставалась в долгу, постепенно силами своей агентуры и боевиков подрывая главный координационный центр русской военной эмиграции – Русский Обще-Воинский Союз. Уже был похищен и убит в Париже харизматичный руководитель РОВСа Александр Павлович Кутепов, занесен топор над генералом Деникиным и вскоре жертвой похитителей из НКВД должен был стать Евгений Карлович Миллер, за которым уже велось пристальное наблюдение.

Генерал Туркул призывал к активной боевой работе на территории СССР. Виктор Ларионов с товарищами, нелегально пробравшись в Ленинград, уже взорвал большевистский клуб на Мойке. А Генерал Скоблин под руководством инструкторов иностранного отдела НКВД и своей энергичной супруги, певицы Плевицкой, разрабатывал планы собственного утверждения в руководстве РОВСа. Германия готовилась к стремительным блицкригам, а западные державы ждали удобного случая, чтобы направить тевтонские орды на Восток. Время мира постепенно подходило к своему завершению, до первых выстрелов новой мировой войны оставалось всего пять лет.

Петр Николаевич Краснов, женатый на немке, был хорошо известен своими прогерманскими взглядами, и его политическая ориентация на «тысячелетний рейх» была легко

предсказуема еще задолго до вторжения германских войск на советскую территорию. Когда это наконец произошло, вместе с вермахтом на Восточный фронт потянулись русские эмигранты, в качестве переводчиков и технических специалистов. Генерал Краснов также не остался без дела. Ему, уже пожилому человеку, была отведена роль вождя казачьих формирований на последнем этапе войны, которую он охотно на себя принял и вдохновенно отдавал этой представительской деятельности все имевшиеся у него силы.

Трудно судить о мотивации поступков человека, на восьмом десятке лет взявшегося участвовать в неблагодарной политической игре и сознававшего, что независимость и самостоятельность казачьего государства будет целиком зависеть от планов германского правительства и, возможно, никогда не материализуется в тех формах и масштабах, которые существовали на Дону во времена Российской империи. Но, вероятно, для Краснова в те годы были хороши любые средства, которые бы пошатнули «владычество большевиков». В публицистике военных лет и в частных беседах генерал всегда говорил о возрождении всей России.

Сегодня же можно с уверенностью утверждать лишь одно: художник в Краснове надолго пережил политика. И, исходя из этого, признать право на существование его произведений, ставших неотъемлемой частью пестрой литературной мозаики русской эмиграции 1930-х годов.

*О.Г. Гончаренко*

# П.Н. Краснов
# Ненависть

## Часть первая

### I

Гурочка проснулся от легкого стука. Он открыл глаза. Был тот зимний ночной сумрак, когда отблески снега на крышах, падая на плоскую белую холщовую штору, разгоняют ночную темноту и дают приятное, ровное и будто печальное освещение комнаты. На полу у печки сидела Параша. Это она сбросила беремя сосновых дров и, открыв чугунную заслонку, накладывала дрова в печку.

Все в комнате было с самого раннего детства знакомо и изучено Гурочкой. В темноте угадывал Гурочка выпуклую гирлянду цветов и фруктов на черной дверце печки. Против Гурия, у другой стены, спал крепким сном его брат Ваня. За головою Гурия стоял его небольшой письменный стол, на нем лежала гора книг-учебников и сбоку – крытый тюленем ранец со старыми порыжелыми плечевыми ремнями с медными кольцами.

Параша чиркнула спичку о заслонку и стала разжигать лучину растопок. В мерцающем неровном пламени заходили, запрыгали по стене со старыми серыми в полоску обоями страшные, уродливые тени. Проста и бедна была обстановка Гурочкиной комнаты. Желтой охрой крашенный пол облупился, и длинные белесые щели шли по нему. На простом «тонетовском» стуле было сложено платье Гурочки, на другом таком же стуле лежало платье Вани.

Параша сунула пучок лучин в устье печки. Ярко вспыхнула бумага, весело затрещали сухие дрова, пахнуло дымом и смолой.

«Да ведь у нас через десять дней Рождество», – подумал Гурочка.

Он знал, что это называется «ассоциация идей». Запах смолы напомнил елку, а елка – Рождество.

И уже нельзя было дальше спать. В мысли о Рождестве была совсем особая магия – вся душа Гурочки встрепенулась, как птичка с восходом солнца. И что-то радостное и прекрасное запело в его юной душе.

Параша, сидя на железном листе подле печки, подождала, пока не загудело в печке пламя и не задрожала, дребезжа, внутренняя тонкая заслонка с квадратными вырезами-оконцами по низу. Тогда она встала, забрала платье молодых господ и ушла.

Гурочка думал: «Рождество подходит, и как это оно так незаметно подкралось? Значит, вероятно, привезли уже и елки? И повсюду в городе, на рынках, на Невском, у Думы, в Гостином Дворе, на Конногвардейском бульваре, – елки. Целые леса елок. Во всех магазинах выставки игрушек и подарков. Надо пойти…» «С кем? Ну конечно, с сестрой Женей. Она такая чуткая и так они, брат и сестра, хорошо друг друга понимают…»

«Уроки – первый латинский – не спросят, вчера вызывали… Второй – русский – не боюсь, знаю… Третий – Закон Божий… Ну, батюшку надо будет “заговорить”. Пусть расскажет о елках… Откуда такой обычай?.. Чей он?.. Тяжело теперь батяне… В пятом их классе новая мода – быть неверующими… После Закона Божия – математика – урок Гурочкина отца, прозванного гимназистами Косинусом. Папа вряд ли вызовет… Да, пожалуй, и спевка будет, вот и не будет урока…»

И сладкое чувство свободы, предпраздничного настроения и радости жизни вдруг охватило Гурочку. Он едва дождался прихода Параши с платьем и стал одеваться.

– Куда вы, барин?.. Еще только полвосьмого. Мамаша навряд ли встамши.

– Хочу, Параша, к рынку до уроков пробежать посмотреть, не привезли ли елки…

– И то… Надо быть, что и привезли.

Гурочка выбежал из комнаты.

* * *

Только начинало светать. В синих туманах тонули дали Ивановской улицы. Было холодно. За ночь снег нападал и подбелил разъезженные улицы с пожелтевшими колеями. Дворники дружно скребли железными скребками панели. Пухлые грядки снега ложились поперек скользких обледенелых плит. Кое-где уже было посыпано хрустящим под ногами желтым речным песком.

На широкой и пустынной в этом месте Николаевской подувал ледяной ветерок с Семеновского плаца. Мороз крепко кусал за уши и за нос.

Желтые и скучные по улицам еще горели фонари и говорили о прошедшей длинной ночи. Уже издали увидал Гурочка в белых волнах морозного тумана парящих на холоду мелких крестьянских лошадок, низкие деревенские розвальни и елки. Он ускорил шаги.

У Косого рынка, с колоннами высокой галереи, с широкими отверстиями подвалов внизу, мужики выгружали елки. Пахнуло душистым лесным запахом моха и хвои. Сладостно защемило сердце Гурочки.

В утреннем морозном воздухе редкие голоса звучали глухо. Низко опустив голову, тяжело и надрывно кашляла лошадь. Вдоль панелей настоящий лес вырастал. Елки – большие, в два человеческих роста – «вот такую бы нам!..», и маленькие, еле от земли видные, в пять коротеньких веток, становились аллеями. Мохнатые лапы ветвей были задраны кверху и подвязаны мочалой. Целые горы елок без крестовин были навалены одна на другую.

Лавочные молодцы в полушубках и белых холщовых передниках, в меховых шапках похаживали подле, похлопывали руками в кожаных однопалых, желтых рукавицах. У лестниц, ведущих в подвалы, стоймя стояли мороженые громадные осетры и белуги, в бочках в снегу, как в бриллиантовой россыпи, лежали судаки, стояли корзины с корюшкой и со снетками и вкусно пахло мороженой рыбой. Рядом висели скотские туши, дыбились колоды свиней, и в берестяных лукошках грудами были навалены битые рябчики и тетерки.

Гурочка потоптался по елочным аллеям, увидал гимназиста болгарина Рудагова, своего одноклассника, и пошел с ним в гимназию.

Праздничное настроение его не покидало.

* * *

В гимназии по коридорам и классам горели керосиновые лампы. Первый урок тянулся томительно, долго. Старый латинист-чех вызывал по очереди, и шел перевод Саллюстия с разбором всех грамматических тонкостей латинского языка.

Батюшку, конечно, «заговорили». Он и сам охотно пошел на это, поддаваясь общему предрождественскому настроению.

Лампы были погашены. В окна лился холодный, матовый свет хмурого зимнего дня. В классе было свежо. Батюшка, высокий и худощавый, в черной с проседью, красивой бороде ходил то около досок, то в проходах между парт и рассказывал о разных Рождественских обычаях в России и заграницей.

– Вот у нас, в Петербурге, этого нет, чтобы со звездою по домам ходить… У нас только елки – это более немецкий обычай… А на юге у нас, и вообще по деревням собираются мальчики, устраивают этакую пеструю звезду с фонарем внутри, светящую на палке, и ходят по домам. Поют тропарь праздника и разные такие рождественские песни «колядки»… Хозяева наделяют ребят чем, кто может. Кто сластей даст, кто колбасы, кто хлеба, что гусятины, вот и у самых бедных становится сытный праздник Христов. Так ведь это же праздник бедняков!.. Праздник милосердия и подарков… В Вифлеемском вертепе, просто сказать – в хлеву, – Пресвятая Дева Мария родила Отроча млада Превечного Бога. Ангелы воспели Ему хвалу, пастухи поклонились Ему и волхвы из далеких стран принесли Ему, Младенцу Христу, драгоценные дары.

Отец Ксенофонт окинул класс грустными глазами и сказал:

– Ну, вот ты, премудрый Майданов… Чему ты улыбаешься, невер?.. Дарвина понюхал – всезнающим философом себя возомнил? Ты, брат, не стесняйся, встань! Когда я тебе говорю. Ноги у тебя от этого не отвалятся. И руку из кармана вынь. Перед духовным отцом стоишь. Ты что, брат, думаешь?.. Сказки рассказывает старый поп?

– Я, батюшка, ничего… Только мало ли легенд?..

– Эх, ты стоеросовая дубина!.. Легенда!.. Сказки, скажи!.. Но, почему же на протяжении девятнадцати веков люди живут этой легендой, этой сказкой?.. Благоуханно вечна она… Вот давно ли народился твой, Майданов, Дарвин, а уже протух, провонял, и серьезные ученые отказались от него… И вернулись к тому, что без Бога и самого мира не могло бы быть. Единым Божиим промыслом создана вся мудрая механика вселенной… Ты знаешь ли, всеученый Майданов, что в католической Германии и Франции в этот день в костелах устанавливают вертепы? И сколько подчас тонкого искусства, глубокой мысли вложено в эти маленькие раскрашенные фигурки из дерева, из гипса, или папье-маше. В вертепе сделаны ясли, солома висит из решетки, стоят волы, осел, овцы. Тут же сидит святой Иосиф и Дева Мария. В яслях младенец Христос… А дальше изображена пустыня, волхвы на верблюдах и звезда в небе… Прямо картина… В этот день в костел идут поселяне-французы, немцы ремесленники, ведут детей, преклоняют колени перед вертепом и смотрят, и молятся, и сколько тихой радости вливается незаметно в их души… Что же, премудрый Майданов, они все глупее тебя, гимназиста верзилы?.. Ты вот дорос до того, что считаешь, что стыдно молиться Богу и верить в Него. Погоди!.. Дорастешь и того часа, когда вспомнишь о Нем и прибежишь под Его защиту. Только не поздно ли будет? Ну, садись, и помни – сказал Христос: «Будьте такими, как дети. Их есть Царство Небесное…»

Резкий звонок внизу, у лестницы, возвестил большую перемену. Батюшка поклонился и, шурша пахнущей ладаном и розовым маслом рясой, вышел из класса.

* * *

На четвертом уроке, когда смуглый и черноволосый Рудагов мучился у доски, не зная, как решить уравнение со многими неизвестными, а Гурочкин отец в синем вицмундире, заложив руки в карманы, стоял сзади него и следил за несмелыми движениями его руки, то писавшей мелом буквы и цифры, то быстро стиравшей их тряпкой, стеклянная дверь, с синими тафтяными занавесками на нижних стеклах приоткрылась. За нею показалось, плоское рыбье лицо инспектора.

– Извините, Матвей Трофимович, – негромким голосом сказал инспектор, – певчие на спевку!

Тяжелая тишина класса, где точно ощущались мучения Рудагова у доски, нарушилось. Певчие вскакивали с мест, с грохотом бросали пенали в ранцы, собирали книги и тетради. Раздавались голоса:

– Матвей Трофимович, вы позволите?..

– Разрешите, Матвей Трофимович?..

Смелый Гурочка сунул в руку Рудагову шпаргалку – решение уравнения, и тот, воспользовавшись суматохой, развернул ее и бойко застучал мелом, найдя нужное решение.

Гурочка с другими певчими мчался, прыгая через три ступени вниз, в малый зал, где уже сидел за фисгармонией регент гимназического хора. Тонко и жалобно прозвенел камертон, певуче проиграла фисгармония: «до-ля-фа»…

Дружный хор гимназистов грянул:

– Рождество Твое, Христе Боже наш… возсия мирови свет разума…

Шибко забилось сердце у Гурия… Праздники… Рождество… Елка… подарки всей семьи… Удивительная сила семейной любви и счастья быть маминым, иметь сестру и братьев, не быть одному на свете, сильной волной захлестывала Гурочкино сердце, и звонко звучал его голос в хоре:

– В нем-бо звездам служащий…

## II

Гурочка издали увидал свою сестру Женю. Она спускалась с подругами с крыльца на большой, белым снегом покрытый гимназический двор. И точно первый раз заметил Гурий, что его сестра совсем стала барышней.

В белой шапочке из гагачьего пуха – охоты дяди Димы – в белой вуалетке, в скромной кофточке, она улыбнулась брату одними своими большими лучистыми голубыми глазами.

– Поспел? – сказала она. – Я знала, что ты придешь меня искать.

– Мама сказала?..

– И без мамы догадалась… Услыхала, как ты рано подрал сегодня в гимназию… Что?.. Елки смотрел?.. Привезли?..

– Ну. Да.

– Хорошо… Пойдем… Я одна боюсь на Невский… С тобой не страшно. Ты совсем кавалер… Ишь, как вытянулся…

Женя была немного выше Гурия. Высокая, стройная, очень хорошенькая, с чуть вздернутым носом, с темными каштановыми волосами и с светло-голубыми глазами, с милой счастливой улыбкой на зарумяненных морозом щеках она шла быстрыми шагами – «по-петербургски» – рядом с братом и весело болтала. Оба были бедно одеты. Гурочкино пальто перешло к нему от старшого брата Володи, его выпустили внизу и домашним способом надставляли кверху и все-таки оно было коротковато. Отложной воротник фальшивого барашка был потерт и в серых проплешинах.

Женя бойко постукивала каблучками кожаных ботинок, она не признавала суконных теплых ботиков, говоря, что ходить без них – петербургская мода.

Всего три часа было, но уже совсем стемнело. Оранжевыми кругами фонари по улицам загорелись. Стало как будто еще темнее, но вместе с тем и уютнее и интимнее. Мягко и неслышно лошади по снегу ступали, быстро скользили бесчисленные санки извозчиков. Ласково раздавалось:

– Э-ей, поберегись!..

– Куда же? – спросила Женя.

– По всему Невскому, от самой Литейной.

– Ну, конечно, часы смотреть? – с ласковой насмешкой сказала Женя.

– Да.

– Успокойся, будут у тебя часы. Только покажи какие?

– Я хотел… чтобы с браслетом.

– Посмотрим.

На углу Невского и Владимирской пришлось подождать, пока городовой в черной шинели и валенках, закутанный башлыком, белой палкой не остановил движения. Столько было саней!.. Нетерпеливо фырчал на снегу чуждый Петербургу, странный автомобиль.

– Я думаю, их много у нас не будет, – сказала Женя.

– Почему?

– Снег… Не везде так расчищено, как на Невском. А по снегу машине трудно.

– А как хорошо!.. Быстро!.. Удобно!..

Сестра с любовной насмешкой посмотрела на брата.

– Тебе нравится?

– Оч-чень! Я хотел бы быть шофером!

– Кем, кем только не хотел ты быть, милый Гурий… Помню, что первое, о чем ты мечтал, – быть пожарным… В золотой каске.

– Ну, это когда еще было… Я совсем маленький был.

– Потом… почтальоном.

– Полно вспоминать, Женя, – недовольно сказал Гурочка.

– Нет, постой… Потом – ученым путешественником, этаким Гектором Сервадаком из жюльверновского романа. Ну а теперь?.. Ты надумал?.. Кем же ты будешь в самом деле? Ты уже в пятом классе. Еще три года – и все дороги тебе открыты. Университет?.. Политехникум?.. Инженерное училище?.. Военно-медицинская академия?.. Куда?.. Может быть, офицером будешь, как дядя Дима?.. Как дядя Тиша?..

– Я, Женя, как-то еще не думал об этом.

– А я!..

– Ну, знаю… Артисткой!..

– Ты помнишь дядю Диму? – переменила тему Женя.

– Очень смутно… Я был совсем маленьким, он юнкером тогда был. Я немного боялся его. Помню, что он приходил со штыком и долго одевался в прихожей; мама всегда ему башлык заправляла. Володя его штык-юнкером прозвал… Помню еще стихи про него говорил Володя: «юнкер Шмит из пистолета хочет застрелиться».

– Ох уж этот наш Володя!

– А что?..

– Летит куда-то…

– Вверх?

– Боюсь, что в бездну.

Удивительный Невский перспективу свою перед ними открывал. Дали темны и прозрачны были. В густой лиловый сумрак уходила череда все уменьшающихся фонарей и дальние казались звездами, спустившимися на землю. От витринных огней магазинов желтоватый свет лился на широкие панели. Изнутри у самых стекол были зажжены керосиновые лампы, чтобы стекла не покрывались морозным узором, закрывавшим выставки.

Густая толпа народа шла по Невскому. Модный был час – четыре. Женя с Гурием шли быстро, искусно лавируя в толпе. Это тоже было «по-петербургски». Они гордились тем, что были петербужцами, что в толпе не терялись, что эта нарядная толпа, суета предпраздничной улицы были им родными, с детства привычными. Где уже очень стало много народа, за Пассажем, Женя взяла Гурия под руку и мило улыбаясь шепнула: «Совсем кавалер»…

Они вспоминали всех родных, говорили о том, кто что и кому подарит на елку. Это называлось у них «делать перекличку».

– Ах, Володя!.. Володя!.. Он старше тебя, он должен бы быть ближе ко мне… А мы с ним точно чужие. И всегда-то он меня обижает. Очень уже он умный. Ты, Гурочка, мне милее, ты проще.

– Мерси.

– Как думаешь, какого зверя пришлет нам дядя Дима в этом году?.. В прошлом году он прислал нам тигровую шкуру… Своей охоты.

– Слона!

– Милый Гурочка, слоны в Туркестане не водятся. Дядя Дима самый далекий от нас… Страшно подумать… В Пржевальске… Почти полторы тысячи верст от железной дороги. Дядя Тиша на хуторе.

– Мне всегда, Женя, почему-то вспоминаются «Вечера на хуторе близь Диканьки» Гоголя. Ты бывала у тети Нади… Похоже?..

– Да, если хочешь. Просто, уютно, очень сытно… Мило… своеобразно… Патриархально…

– Всегда нам на праздники шлют то гусей, то индюков, то поросенка… А помнишь, соленый виноград… или соленый арбуз. Розовое варенье. Пальчики оближешь. Ароматно, вкусно…

– А в общем, точно тонкую бумагу клякс-папир жуешь.

– Они богатые?

– Как сказать?.. Трудятся… Дом у них лучший на хуторе, под железной крышей… Опять же он есаул.

– Не правда ли, как это занятно, что у нас дядя казак…

На углу Михайловской, где был громадный дом-дворец Елисеева, нельзя было не остановиться. В гигантских окнах – в Петербурге еще и не было таких – горами сласти и фрукты были навалены. Большая кисть желтых бананов с потолка свешивалась, финики в длинных овальных коробках, винные ягоды, изюм трех сортов, яблоки пунцово-красные, зеленые, оранжевые, почти белые, розовые, длинные, продолговатые «крымские», плоские, как репа – «золотое семечко», виноград восьми сортов, апельсины, мандарины, ананасы – все глаз ласкало и странные мысли о далеких странах навевало. Когда двери открывались, из ярко освещенного магазина тянуло пряным, «экзотическим» запахом ванили и плодов.

– Какие мандарины! – воскликнул Гурочка. – Ты видишь, Женя?.. Больше апельсины… И совсем плоские. Это из-под Батума. А там японские какисы… Таких у нас на елке не будет.

– Ты завидуешь?

– Ничего подобного… Мама верно говорит: «Бога гневить нечего… все у нас есть… слава Богу, сыты, обуты, одеты». А ведь есть голодные… Мама всегда учила – не смотри на богатых и не завидуй им, а смотри на бедных и жалей их.

– Мамина мудрость.

Не доходя до Мойки, Гурочка потащил сестру переходить Невский. Женя догадалась, в чем было дело.

– Часы?..

– Да. У Буре.

Окна часового магазина были высоко над землей и надо было издали смотреть на выложенные на бархатные щиты золотые, серебряные и темной стали кружки часов.

– Постоим, – вздыхая, сказал Гурочка.

– Хороши?

– Оч-чень.

– Какие же тебе приглянулись?..

– Вон те маленькие… никелевые… со светящимся циферблатом и с ремешком.

– Будут твои… Только это большой секрет и прошу меня не выдавать. Мама сказала, что дедушка еще на прошлой неделе прислал тебе на часы.

– Женя!.. Милая!..

– А ты знаешь, что мы пошлем дедушке? Это Шура придумала. Молитвенник в переплете темного бархата. Каждая страница в узорной цветной рамке. Узор везде старинный, русский. Сто страниц в молитвеннике, и узор нигде не повторяется. Это очень дорогое Синодальное издание. Я видала. Очень красиво. Оч-чень!

– А папе – масляные краски. Как давно он мечтает о них. Это решено…

– Да, Шуре поручено их подобрать.

– У Дациаро?..

– У Аванцо. Хочешь посмотрим?..

Гурочка понял хитрость сестры и локтем прижал ее локоть.

– Знаем… знаем, – сказал он.

– Ну что знаешь, – притворно равнодушно сказала Женя. – Ничего ты, мой милый, не знаешь…

Но у нотного магазина Юргенсона Женя замедлила шаги, а потом и вовсе остановилась. Ни интересного, ни красивого там ничего не было. Разложены были нотные тетради с крупными заголовками, но за стеклянными дверями бледно-голубые, розовые и белые афиши висели. Они-то и привлекли внимание Жени.

«Концерт солистки Императорских театров Марии Ивановны Долиной»… «Концерт народной песни Надежды Васильевны Плевицкой»… «Концерт Анастасии Димитриевны Вяльцевой»… Вечер романса… Концерт… концерт… концерт…

Эти афиши точно заколдовали Женю. Она и холод позабыла. Маленькие ножки в стареньких ботинках стыли на снегу. Женя топталась на месте и все не могла отойти от этих заманчивых афиш. Открывалась дверь магазина. Душистым теплом тянуло оттуда. Видны были пустые прилавки и скучные шкапы с картонками. Жене казалось, что несло из магазина запахом сцены и эстрады, ароматом артистической славы. Сюда за нотами ходили артистки.

Артистки!!.

Гурочка равнодушно просматривал афиши.

– Вот и тебя, Женечка, когда-нибудь так аршинными этакими буквищами пропечатают: «Концерт певицы Евгении Матвеевны Жильцовой»… Да нет!.. Ты будешь в опере… И я, гимназист седьмого класса, из райка буду неистово орать: «Браво, Жильцова!.. Жильцова, бис!»…

– Тише ты!.. С ума спятил!.. На нас оборачиваются… Смотрят на нас.

– Привыкай, сестра… Артистка!.. Талантище!..

– Идем домой… Поди, тоже замерз, как и я…

## III

Артистка!..

И точно Женя мечтала стать артисткой. Все это так неожиданно, чисто случайно вышло нынешним летом.

Женя гостила у тети Маши на даче в Гатчине. На стеклянном балконе в одном углу горничная на гладильной доске горячим утюгом гладила белье трех барышень, двоюродных сестер Жени – Шуры, Муры и Нины, в другом Женя рассыпчатое тесто для печенья готовила. С пальцами, перепачканными маслом и мукою, Женя во все горло пела по памяти, слышанный ею от матери старинный романс.

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей,
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней…

– Вот хорошо-то, барышня, чистый соловей, – хваливала горничная, нажимая утюгом на плойку.

Воробьи за раскрытыми окнами трещали. В зелени ярких турецких бобов с коралловыми кисточками цветов реяли бабочки. Голубое небо висело над садами. Томительно прекрасна была тишина жаркого полудня.

Немой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнем слова,
Так друг заботливый больного
Его дремоты не тревожь…

Внезапно дверь отворилась и прямо на балконе появился человек в соломенной панаме, в светлом летнем костюме и с тростью в руке.

Женя, как испуганная птичка, вспорхнула и умчалась, оставив доску, стеклянную рюмку и ряд желтоватых кружков на железном листе. Горничная вопросительно смотрела на вошедшего.

– Скажите, милая, кто это у вас тут пел?..

– А пел-то кто?.. А барышня наша, Евгения Матвеевна.

– Могу я видеть ее мамашу?

– Маменька их здесь, тоже в гостях… Если чего надо, скажите, я пойду доложу. Как сказать-то о вас прикажете?

– Скажите, господин Михайлов из Русской оперы.

Женина мать, Ольга Петровна, получив доклад, вышла на балкон. Она была смущена. На ее свежих щеках проступили красные пятна. За дверью невидимые и неслышные стали Женя и ее двоюродная сестра Шура.

– Простите меня, сударыня, – сказал господин Михайлов. У него были мягкие манеры и вкрадчивый приятный голос. – Может быть, мое вторжение покажется вам неделикатным и совершенно напрасным для вас беспокойством. Но, как артист, я не мог… Я проходил мимо вашей дачи, когда услышал пение… Божественный, несравненный романс Глинки. Я просто-таки не мог не зайти и не поинтересоваться, кто же это так очаровательно поет? Сказали – ваша дочь… Простите, ваша дочь училась?.. учится?.. готовится куда-нибудь?..

– Нет. Она сейчас в гимназии… Она только в церковном хоре поет. Вот и все.

– Но ведь это несомненный талант!.. Голос!.. Ей необходимо учиться… Такая редкая чистота, такой тембр… фразировка… Можно думать, что ей кто-нибудь уже поставил голос. А вы говорите, что это без работы, без тренировки… Это же феноменально…

Ольге Петровне ничего не оставалось, как пригласить господина Михайлова в гостиную. Неудобно казалось оставлять его перед пахнущими ванилью кружками из теста и простенькими панталончиками в плойках Шуры, Муры и Нины.

Господин Михайлов сел под высоким фикусом, в кресло, поставил между ног палку с золотым набалдашником, повесил на нее светло-желтую панаму и с теми актерскими, пленительными ужимками, которые невольно покоряли смущенную Ольгу Петровну, сладким ворковал баритоном:

– Я могу устроить вашей дочери пробу у Фелии Литвин.

– Я не знаю право… Моя дочь раньше должна окончить гимназию.

– Я понимаю, сударыня… Я все это отлично даже понимаю. Может, вас стесняет?.. Нет?.. Уверяю вас… Госпожа Вельяшева с удовольствием займется с вашей дочерью… А там консерватория… И, если ничего неожиданного не случится, – сцена ей обеспечена.

– Сцена?..

Господин Михайлов только теперь заметил большой и, видимо, семейный портрет красивого почтенного священника с наперсным крестом, висевший на стене против него, и поспешил добавить:

– О! Ничего, сударыня, предосудительного. Императорская сцена!.. Вы сами, вероятно, слыхали: Мравина, Куза, Славина, Рунге, Долина – все дочери почтенных отцов!.. Супруги, можно сказать, сановных лиц… Строгие нравы Императорской сцены известны… Артистка за кулисами творит крестное знамение прежде чем выйти на сцену…

– Да… Да, я понимаю…

Ольга Петровна окончательно смутилась.

– Так все это неожиданно. Женя совсем ребенок.

– Простите, что обеспокоил вас, но, разрешите… Я живу здесь по соседству, разрешите еще раз навестить вас и возобновить, вижу, волнующий вас разговор?

– Пожалуйста… Милости просим…

Ольга Петровна проводила гостя до крыльца. Он шел без шляпы и, стоя на ступенях, еще раз низко, по-актерски, ей поклонился.

– Уверяю вас, сударыня, – сказал он медовым своим голосом, – никогда не осмелился бы побеспокоить вас, если бы не был уверен в своем опыте… Редкий, смею вас уверить, голос… Замечательный по красоте и силе!

И он быстро исчез за поворотом улицы.

Едва Ольга Петровна вошла в гостиную, как точно вихрь налетел на нее и закружил ее на месте. Женя охватила ее и, прыгая и танцуя подле матери, плача и смеясь, в одно время говорила:

– Мамочка!.. Да что же это такое?.. Он сказал!.. Да неужели это правда?.. Мамочка, ты не откажешь?.. Нет?.. У Литвин?.. У Вельяшевой?..

Она оставила мать и пронеслась по всему залу, подпрыгивая через шаг на одной ноге, каким-то мазурочным темпом, потом схватила Шуру за руки и понеслась с нею.

– Шурочка, – звонко кричала она. – У меня талант!.. У меня голос!.. Замечательный по красоте и силе!.. Ты слышишь?.. Это замечательно, это упоительно!.. Это сверхъестественно!..

Она резко остановилась, бросила свою двоюродную сестру и снова подбежала к матери.

– Мамочка!.. А папа?..

Но Косинус на все согласился.

И начались рулады сольфеджио, от которых прятался в свою комнату Володя и, сердито хлопая дверью, рычал:

– Опять завыла!..

И с руладами этими росло, ширилось, крепло умилительное чувство своей силы, независимости, желания завоевать жизнь, добыть славу, стать знаменитостью…

О том, что произошло, написали дедушке, отцу протоиерею. С волнением ждала его ответа Женя. Но дедушка отнесся благосклонно, прислал благословение внучке – «послужить на театре искусству и Богом данным талантом смягчать сердца людей и давать им кроткую радость красоты своего пения».

Иного, впрочем, от дедушки и не ждали: был он широкообразованный, святой жизни человек и без предрассудков. Про него говорили – «передовой».

## IV

У Гурочки было два дяди – родной дядя, брат его матери – дядя Дима, туркестанский стрелок, и муж сестры матери, тети Нади – дядя Тихон Иванович Вехоткин – донской казак.

Дядя Тихон Иванович жил в войске Донском, на хуторе, где у него было свое хозяйство. Как только Ольга Петровна или Марья Петровна замечали, что Женя или Шура бледнели от классных занятий – сейчас же шел разговор: «А не отправить ли их на лето, к тете Наде?.. У

дяди Тиши молочка они вволю попьют… Свое непокупное, степовое?.. Ну и кумыс можно там им давать?.. Да и воздух не петербургских дач… Опять же и солнце».

И Шура, и Женя то вместе, то порознь ехали под благодатное солнце юга проводить, как они называли, «вечера на хуторе близ Диканьки».

И попадали они там в совсем особенное и преизобильное царство. Кругом были русские. Какой звучный и яркий русский язык был там, какие песни там пели, как свято блюли веру православную и русский обычай, а придет кто к дяде и первый вопрос: «Вы из России?..». Или скажет дядя Тиша: «Сенокос близок, надо русских рабочих пошукать, своими не управиться».

Дед Тихона Ивановича был простой казак – урядник. Отец выбился в офицеры, а сам Тихон Иванович кончил Донской кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище в Петербурге и на груди носил училищный жетон – золотого распластанного николаевского орла с гвардейской звездой. Он был уже – «образованный», однако своего казачьего хозяйства не бросил, только повел его более рационально, где можно прикупал или арендовал землю, обзавелся машинами, широко с Наденькой поставил птичье хозяйство. Первый курень был его на хуторе. Основная хата под железную крышу была выведена, сараи тоже были крыты оцинкованным железом.

В то самое утро, когда Гурочка, почуяв смолистый запах растопок, «по ассоциации идей» вспомнил, что близко Рождество Христово и заторопился выйти на улицу, чтобы полюбоваться елками, – дядя Тихон Иванович проснулся в ночной тишине от крепкой заботной мысли: «Рождество на носу. Надо родным свой хуторской подарок посылать, а как пошлешь? С самого Николина дня установилась оттепель. Теплынь такая – хотя бы и весне в пору. Степь развезло, дороги раскисли. Как тут бить птицу – протухнет в дороге».

Неслышно ступая босыми ногами по узорному в цветных лоскутках коврику, Тихон Иванович в холщовых портах и ночной рубашке, завязанной у ворота тесемкой, подошел к окну и осторожно, чтобы не разбудить жену, отложил внутренние ставни.

Мягкий и ровный свет шел от степи, еще вчера мрачной и черной. Ровным пологом лег белый, искристый снег и светился и будто играл под высоким звездным небом. В раз, в одну ночь стала по Дону зима. Ровный ветер над степью подувал и нежно посвистывал. Тонкие прутики краснотала шевелились под ним, и мелкою осыпью упадали с малиновых хлыстов снежинки. Здоровым ароматным морозом тянуло от окна… Тихон Иванович взял со стола спички и поднес зажженный огонек к градуснику.

«Хо!.. Хо!.. Пятнадцать Реомюра ниже ноля! Вот так, так!!.. Недаром вчера с вечера задул ветряк с северо-востока. Сибирскую стужу принес на Дон».

Какая тишина была в степи!.. Дуновение ветра было слышно в ней и легкий шорох высокого засохшего могильника на валу у ограды куреня. Между окнами двойных рам, в вате с разбросанными по ней цветными шерстинками в стаканах круто замерзла до самого дна вода и выпуклым кругом легла по верху. По углам стекол серебрился причудливый узор – художественные упражнения никем не превзойденного Дедушки Мороза. Вверх по стеклам рассыпались белые звездочки.

Совсем хорошо.

С постели мягко спрыгнула кошка. Тихон Иванович оглянулся. Наденька сидела на постели. От лампадки, затепленной перед иконами, падал золотистый отсвет на ее светлые, цвета спелой ржи волосы.

– Ну, как, Тиша?..

– Пятнадцать ниже ноля. Самое нонче гусей и индюков резать. Задеревенеют в одну ночь, а завтра и пошлем.

– А дорога?..

– Самуй снег. Все бело. Санями покатим. Да теперь, как видно, уже и не ослабит. До самого до Крещенья продержит, а то и до масляной. Аль-бо мятель только на грех не задула. Да и то – не задует. Ишь звезды как под утро разыгрались… Сколько же, мать, кого резать повелишь?..

Наденька поморщилась. Пора бы, кажется, и привыкнуть к тому, что птицу разводят не для утехи, а чтобы резать и есть… А все не могла. Все было жаль своих гусей и индюков. Поди и им жить-то хочется.

– Ох, Тиша. И думать не могу.

– И-и, мать… Если мы их не зарежем, гляди, они нас с тобою зарежут.

– Верно, Тиша. А все точно смертный приговор им подписываю… Ну, вот… Батюшке надо… Хотя пару ему, как прошлый год посылали… Оленьке пару и индюка.

– Ну нет! Ей пару индюков надо! Ить семья у нее большая. Да кабы не Володька их, кажись, все им отдал бы. Такие вот славные люди. А уже Женя – храни ее Христос!.. Поет-то как!.. А?.. Мать?.. Поет-то!

– Простить Володе не можешь…

– И никогда не прощу… Ему прощать?.. Шалай!.. Сукин кот!..

– Ну, оставь… Не хорошо! Машеньке по штуке.

– Нет уже прости и Маше всего по паре. Одна Шура ее чего стоит. Ангел Господень. Не человек. Доброта, красота, а искусница!..

Тихон Иванович подошел к стеклянному шкапу, стоявшему в углу горницы, открыл дверцу и достал с полки серебряный стаканчик чеканной работы.

– Всякий раз, как посмотрю, умилюсь. Удивлению подобно. Да неужто то наша Шурочка, в Строгоновском училище будучи, такую штуку своими нежными пальчиками вычеканила? Маки-то, как живые!.. На листьях каждую жилочку положила. Помнишь, как в прошлом году приехала к нам кумыс пить. Весь хутор… Что хутор?.. Станицу всю перебуровила… Девье все наше с ума посходило. Каким вышивкам, каким кружевам, каким плетеньям всех научила. Я, говорит, в этом году тут школу прикладного искусства открою. Нет, уже кому, кому, а им-то по паре и гусей, и индюков.

– Да куда же им? У них ведь свое хозяйство.

– Ну, это, сказала тоже, мать. У них ить гатчинские гуси, а наши донские… Полагаю я, немалая разница. Попробуют, поди – поймут, какие слаже. А Шурочка… Ей-богу, кабы не двоюродная – вот нашему Степану невеста… Так я, мать, пойду распоряжусь, а ты рогожи и холсты приготовь.

* * *

Только хотели садиться полудничать, как на дворе залаяли собаки.

– Кого это Бог несет, – сказал, поднимаясь из-за стола, Тихон Иванович. – А ить это кум!.. Николай Финогенович… Аннушка, – крикнул он девушке, прислуживавшей у стола, – проси гостя, да поставь еще прибор.

Столовая, узкая комната, с одним окном на станичную улицу, отделенную маленьким палисадником и с двумя широкими окнами на галдарейку со стеклянною стеною, была вся напоена ярким, зимним, солнечным светом.

Тихон Иванович достал хрустальные графинчики с водками. Заиграл радужными цветными огнями хрусталь в солнечном луче.

– Пост, ведь, Тиша, – тихо сказала Наденька. – Можно ли?

– И, мать… Не знаешь. Казаку и водка постная. Что в ней – хлеб, да тмин, да тысячелистник? Гость дорогой, уважаемый кум, притом же хуторской атаман. Да и старик. Георгиевский кавалер. Как можно такого гостя да не уважить?

Николай Финогенович Калмыков, хорунжий из простых казаков, высокий, плотный, крепкий, осанистый появился на пороге комнаты, истово перекрестился на иконы, почтительно поцеловал руку у Наденьки и крепкими мужицкими пальцами принял тонкую руку Тихона Ивановича.

– Ты прости меня, кум. Сам понимаю: «незваный гость хуже татарина». Да ить дело-то какое у меня. Спозаранку встамши, услыхал я – гуси у тебя кричат, ну и догадался. Значит, к празднику режут. Посылку готовите сродственникам. Вот я и пришел вам поклониться.

Старый казак, разгладив широкой ладонью окладистую седую бороду, низко в пояс поклонился сначала хозяину, потом и хозяйке.

Он был в длинном, до колен, чекмене, без погон, серого домодельного сукна, в синих с широким алым лампасом шароварах и в низких стоптанных сапогах на высоких каблуках.

Как ни привыкла Наденька к станице и ее обитателям, но всякий раз, как приходили к ней такие старики, как Калмыков, ей казалось, что это были совсем особенные люди. Да и люди ли еще? Калмыков был еще и не так большого роста, ниже во всяком случае ее Тихона, а вошел и точно собою всю горницу наполнил. Густые седые волосы серебряной волной ниспадали к бурому уху, где посверкивала серебряная серьга, усы, борода, все было какое-то иконописное, точно сорвавшееся с картины Васнецова, с его богатырей на заставе. На Георгиевской ленточке на груди висел серебряный крестик, крепкие, сильные руки прочно легли на стол. Человек без образования, полуграмотный, в полку был вахмистром, а случись что, к кому идти за советом, кто научит, как с коровами обращаться, кто по каким-то ему одному ведомым приметам скажет, когда наступит пора пахать, когда сеять, когда косить? Точно кончил он какой-то особенный, жизненный университет, с особыми практическими дисциплинами и с прочными, непоколебимыми убеждениями вошел в жизнь, чтобы так и идти, никуда не сворачивая. Который раз единодушно и единогласно избирался он хуторским атаманом и с каким тактом атаманил на хуторе. Как умел он подойти к ней, столичной барыне, и как умел обойтись с хуторскими казачками, лущившими тыквенные и подсолнечные семечки. Одним языком и об совсем особом говорил он с Тихоном Ивановичем и иначе говорил с казаками-малолетками. Проскочит иной раз неверно услышанное «ученое» слово, скажет «волосапет», «канкаренция», «ихфизономия», но так скажет, что и не поймешь, – нарочно он так сказал или не знает, как надо говорить.

Тихон Иванович очень полюбил своего кума и часто отводил с ним душу, беседуя то на хозяйственные темы, то говоря с ним о том, что у него на душе наболело.

– Садись, садись, Николай Финогенович, гостем будешь.

– Да вы как же, ужли же не полдничали еще?

– Припоздали маленько, с птицей возившись, – сказала Наденька, – милости просим, откушайте нашего хлеба-соли.

– Разве что только попробовать, – сказал Николай Финогенович, усаживаясь на пододвинутый ему Аннушкой стул.

И сел он прочно, точно вместе со стулом врос в землю, как громадный кряжистый дуб.

– Какой начнем?.. Простой?.. Или Баклановской?.. Глянь-ка каким огнем в ней перец-то горит! Чистый рубин! Или мягчительное, на зелененькой травке, или полынной?

– Да уж давайте полынной.

– Икорки, Николай Финогенович?

– Да что это вы право, Тихон Иванович, на меня разоряетесь, а ить я еще к вам притом же и с просьбою. Ну, бывайте здоровеньки!

– И тебе того же.

– Огонь, а не водка… Так вот, Тихон Иванович, иду это я, значит, сегодня на баз, скотине корма задать, и слышу – гуси у вас раскричались. Меня как осенило: значит, кумовья посылку своим готовят. Так?.. Угадал, аль нет?..

– Угадали, Николай Финогенович. Рождество близко. Пора своим послать, чем Господь нас благословил… Еще позволишь?..

– Разве уже по маленькой?.. Когда же посылать-то надумали?

– Если погода продержит, завтра с рассветом коней запрягу, да и айда на станцию.

– Так… так… Вот к вам моя просьбица. Не свезете ли вы и мои посылочки… Ить у меня в лейб-гвардейском полку внук, сухарей ему домашних старуха моя изготовила, мешок, да горшочек своего медку… Ишшо племенник у меня в Питере в училище, хотелось бы ему колбас домашних, да окорочок ветчинки…

– Что же… Валяй, вместе все и отправлю.

– Спасибочко!.. Вы ить, Тихон Иванович, в январе и на службу…

– Да в полк. Опять мать одна останется за хозяйством смотреть. Уж у меня на тебя надежда, что ты ее не забудешь, поможешь, когда нужда придет.

– Это уже не извольте беспокоиться.

– С рабочими теперь трудно стало.

– И всегда нелегко было, Тихон Иванович.

– Этот год, не знаю сам почему, мне как-то особенно трудно уходить на службу.

– Что так?..

– Да, пустяки, конечно… Страхи ночные. Бес полуночный.

– А вы его крестом, Тихон Иванович. Он супротив креста не устоит. Мигом в прах рассыпется.

– Я тебе, Николай Феногенович, про своего племянника, Володьку не рассказывал?

– Видать – видал у вас летом какой-то скубент по куреню вашему шатался, а рассказывать – ничего не рассказывали.

– Ну так вот, слушай… Еще рюмочку под постный борщ пропустим. Смутил меня в тот приезд Володька, можно сказать, сна лишил, шалай проклятый, сукин кот!.. Видишь ли ты, какая у меня вышла с ним преотвратительная история.

– Прошлым летом, значит, приезжает ко мне мой племянник и в самый разгар лета. На степу косить кончали, стога пометали, выгорать стала степь.

Николай Финогенович, со смаком закусывая большим ломтем пшеничного хлеба, уписывал тарелку щей, Тихон Иванович и есть перестал, тарелку отставил и повернулся полоборотом к гостю.

– Приезжает… Под вечер дело уже было. Подрядил он хохла на станции, в бричке приехал. Телеграммы мне не давал, значит, по-новому, не хотел родного дядю беспокоить. А сам понимаешь, какое тут беспокойство – одна радость – родного племянника принять. Вылазит из брички… Я его допреж не видал. Росту он среднего, так, щупловатый немного, с лица чист. Студенческая куртка на нем на опашь надета поверх рубашки красной, ну, фуражка. Я было обнять его хотел, расцеловать, как полагается, по-родственному… Чувствую – отстраняется. Значит, опять по-новому, без родственных нежностей. Отвели мы его в горницу, вечерять сготовили, про родных расспросили, а наутро обещал я ему хозяйство свое показать, похвалиться тем, что сам своими трудами создал.

– Так ить и то, похвалиться-то есть чем, – сказал Николай Финогенович и невольно подставил тарелку под протянутый ему Надеждой Петровной уполовник со щами… – Ну и щи у вас, мать-командирша, – сказал он, как бы оправдываясь, – не поверишь, что постные. Не иначе, как вы там чего-нибудь такого да положили. Замечательные щи. Моей старухе у вас поучиться надо.

– Наутро… А уже какое там утро!.. Все кочета давным-давно пропели, рабочий день в полном ходу. А я, знаете, с Павлом-работником все прибрал, верите ли по саду, по двору, по стежкам белым песочком присыпали, где у плетня дурнопьян порос повыдергали, чисто, как на инспекторский смотр какой изготовился. Ну да понимаете, ее сестры сын, родной же!..

Я ведь их всех как полюбил! Отец его опять же замечательный человек, математик!.. Астроном! Думаю, пусть посмотрит, как в степу люди живут, как с песками, с засухой борются, как с природой воюют, как все сами добывают, да в Питере потом своим и расскажет…

– Да и точно есть ить чего и показать, – опять повторил гость.

– Ну, ладно. Выходит. Куртка на нем белая, ну, чисто, женская кофта, воротник широкий, отложной на грудь спускается, шея, грудь открытые, чисто девка… Срамота смотреть… Мне перед работником стыдно за него. Конечно, жара, да только лучше бы он в одной рубахе что ли вышел, чем в таком-то костюме. Хотел ему замечание сделать по-родственному, однако сдержался. Вижу, все одно не поймет он меня. Студент… Мать ему к чаю-то напекла, наготовила, чего только на стол не наставила. И каймак, и масло свежее, сама вручную сбивала, и хлебцы, и коржики, и сухари, и бурсачки, и баранки… Он и не глянул, чаю постного, без ничего, хватил два стакана, задымил папиросу, а я этого, знаете, не люблю, чтобы, где иконы, курили, и говорит: «что же, пойдемте, Тихон Иванович, посмотрим»… Понимаешь, не – «дядя», – а «Тихон Иванович»… Это чтобы грань какую-то положить между нами.

– Да полно, Тихон, – сказала Наденька. – Право… Одно воображение. Ничего у него такого в душе не было. Просто стеснялся молодой человек. Первый раз в доме.

– Какое там стеснение!.. С полной ласкою, с горячей любовью к нему – ведь Олечкин же сын он, не чужой какой, посторонний человек, – вышел я с ним во фруктовый сад. Конечно, лето… Затравело кое-где, полынь вдоль плетня потянулась, ну, только – красота!.. Тихо, небо голубое, кое-где облачками белыми позавешено. Вошли мы туда и точно слышу я, как яблоки наливаются соками. Повел я его по саду. Объясняю. Вот это, мол, мой кальвиль французский из Крыма выписан, это антоновка, это «золотое семечко», тут «черное дерево», тут крымские зимние сорта. Урожай, сам помнишь, был необычайный. Всюду ветви жердями подперты, плодами позавешаны, прямо пуды на каждой ветке. Кр-расота!.. А промеж дерев мальвы поросли, бледно-розовые, да голубые, глаз радуют. Маки цветут. Чебарем пахнет. Пчелки жужжат. У меня у самого, аж дух захватило. Все позабыть можно – такой сад.

– Он ведь как, мой Тиша, – вмешалась в разговор Наденька, – когда у него первые-то выписные яблоки поспели – он и есть их не захотел. Кальвилей всего четыре штуки родилось, так он по одному всем нашим послал в Москву, в Петербург и Гатчину. Похвалиться хотел, что на песке у себя вывел, а четвертое поставил у себя на письменном столе на блюдце и любовался на него, как на какую бронзовую статуэтку. И только когда, совсем зимою, когда тронулось оно, разрезал пополам, мне дал и сам съел. И кожи не снимал.

– Еще бы, Николай Финогенович, – яблоко то было точно золотое, а на свет посмотришь – прозрачное. А какие морщинки, какие складочки, как утоплен в них стерженек! На выставку можно… Ну ладно. Обвел я его по саду и говорю: «Это вот, изволите видеть, – мой сад»… А он мне на это будто даже с такою насмешкой говорит: «А почему же это, Тихон Иванович, ваш сад?» Я, признаться сказать, сразу и не понял, к чему он такое гнет. – «Как почему, – говорю. – Да я сам садил его на своей усадебной земле, сам окапывал, сам от червя хранил, канавки для орошения устроил, колодезь выкопал, вот поэтому по всему он и мой сад». Он криво так, нехорошо усмехнулся и пошли мы дальше по куреню. От гулевой земли у меня к саду чуток был прирезан, липы и тополи посажены и травы там разные – пчельник у меня там был. «Вот, – говорю, – это мои пчелы». А он опять свое: «А почему это ваши пчелы?» Я еще и подумал: «Господи, ну что за дурак питерский, право». А какое там дурак! Он оказался умнее умного. Знал, к чему гнул. Я ему терпеливо объясняю, как брал я рой, как устраивал ульи, как пчелы меня знают, так что даже и не жалят меня, все, как ребенку объяснил. Ну, ладно. Пошли мимо амбаров, на базы. Я для него и лошадей и скотину оставил, на толоку не погнал. Показываю ему. Это мои волы, мои лошади, мои телки, мои коровы. Каждой твари ее характер ему объясняю. Потом подвел его к гуменным плетням, откуда,

знаете, степь видна, показываю… Вправо меловая хребтина серебром на солнце горит, а влево займище широко протянулось.

– Стало быть так – на свою деляну вывел.

– Ну ладно. Говорю ему: «Видишь, по степи точно облако, точно узор какой серо-белый… Видишь» А сам аж трясусь от радости, от гордости. «Ну, – говорит, – вижу». – «Так то, – говорю, – овцы!.. Мои овцы… Триста голов!!.. И все как одна тонкорунные»… И, надо быть, захватил я его, наконец. Стал он против меня, ноги расставил, коровий постав у него, сам стоит без шапки, копна волос на голове, а возле ушей сбрито, чисто дурак индейский, стал он вот таким-то образом против меня, смотрит куда-то мимо меня и говорит: «Вы, может быть, когда-нибудь читали Достоевского “Бесы”?» Читать нам, сам понимаешь, Николай Финогенович, некогда. На службе когда – службой заняты. Теперь в полках не по-прежнему, так гоняют – только поспевай, а дома – с первыми кочетами встанешь, а как солнышко зайдет, так не до чтения, абы только до постели добраться. Но когда был в училище, помню, читал. Я ему говорю: «Читать-то я читал, а только невдомек мне, к чему это вы мне такое говорите». И вот тогда-то я и почувствовал, что ошибся в нем. Что он не племянник, жены моей родной сестры сын, а чужой совсем, и даже больше, враждебный мне человек. А он… и будто это ему сорок лет, а мне двадцать три и говорит: «Так вот там описывает Достоевский, как Степан Трофимович Верховенский рассказывает про *административный* восторг. Так вот теперь я вижу, что в России есть не только административный восторг, но есть и восторг *собственнический*».

* * *

После полдника Николай Финогенович поднялся уходить. Дело было сделано – согласие отвезти на станцию и послать посылки было получено, но чутьем он понял, что оборвать теперь рассказ Тихона Ивановича на полуслове, да еще тогда, когда в голосе его звучали слезы, было нельзя. Наденька, вероятно, не первый раз слышавшая этот рассказ тихонько с Аннушкой прибирала со стола. Тихон Иванович откинулся на стуле и несколько мгновений молча смотрел в узкие глаза Колмыкова.

– Ты понимаешь, – наконец, сказал он, – меня, как пришило к месту. Я и сказать ничего не нашелся. Молча повернулся и пошел к дому. Он идет рядом со мною. Нарочно не в ногу. Я подлажусь, – он расстроить. Пришли, пообедали, после обеда он пошел, спать лег – вишь утомила его утренняя прогулка. За чаем я и говорю ему. И так уже с места у нас вышло, что мы не «ты» друг другу, как полагается по-родственному, говорили, а «вы». Я и говорю ему: «Изъяснитесь, Володя… Что это вы хотели мне сказать о моем… моем восторге?» – «Ах, это… видите… вы мне свое хозяйство показывали и говорили: это мои деревья, мои пчелы, мои коровы, лошади, земля, мои овцы. А собственно, почему это все ваше?.. Надолго ли ваше?.. Правильно ли, что это ваше?..» Я стал ему объяснять наше казачье положение, рассказал о паевом наделе, который и мне как природному казаку полагается, рассказал об усадебной земле, о праве пользоваться общественными станичными землями, о покупке помещичьей земли… Он и слушать долго не стал. Перебил меня, встал из-за стола и начал ходить. «Этого больше не будет, этого не должно быть, Тихон Иванович, – прямо, аж даже визжит, в такой раж пришел. – Не может быть никакой собственности, потому что это прежде всего несправедливо…» И начал мне говорить о трудовом народе, о заводских рабочих, о городском пролетариате, о волжских батраках, о киргизах, о неграх…

– О неграх? – как-то испуганно переспросил Николай Финогенович. Он подумал, не ослышался ли.

– Да, о неграх же… О тяжелой их доле. «И все, – говорит, – потому, что богатства распределены неравномерно, что у вас в доме полная чаша и все собственное, а у другого и хлебной корки нет, с голоду подыхает, в ночлежке ютится».

– Мы эту песню, Тихон Иванович, – задумчиво сказал Николай Финогенович, – еще когда слыхали!.. В 1905 году, помните, как были мы мобилизованы на усмирения, так вот такие именно слова нам кидали в разных таких летучках, ну и в прокламациях этих вот самых… Мало тогда мы поработали, не до конца яд этот вывели…

– Вот, вот… Я ему это самое и сказал. «Что же, – говорю ему, – Володя, раньше помещиков жгли и разоряли, теперь казаков и крестьян зажиточных жечь и грабить пойдете, – так ведь так-то и подлинно все с голода подохнете. Опять делить хотите? Другим отдавать не ими нажитое». Он, как вскипит, кулаки сжал, остановился у окна, говорит так напряженно, тихим голосом, да таким, что, право, лучше он закричал бы на меня: «Делить, – говорит, – никому не будем… И никому ничего не дадим, ибо никакой собственности быть не должно». – «Что же, – говорю я ему, – а эта кофточка?..» – Заметь, уже у меня вся родственная любовь к нему куда-то исчезла, насмешка и злоба вскипели на сердце. – »Что ж, эта кофточка, что на вас, разве она не ваша?» Он одернул на себе кофту и говорит: «Постольку поскольку она на мне, – она моя. Но и этого не будет. Все будет общественное. Будет такая власть, такая организация, которая все будет распределять поровну и безобидно, чтобы у каждого все было и ничего *своего* не было». – «Что же, – говорю я, – казенное что-либо будет?..» – «Нет… Общественное». – «Кто же, – говорю, – и когда такой порядок прекрасный устроит?..» Он мне коротко бросил: «Мы». Тут я на него, можно сказать, первый раз как следует поглядел. Да, хотя и такого отца всеми уважаемого и такой распрекраснейшей матери сын, и даже сходствие имеет, а только… Страшно сказать – *новый человек*!.. Лоб низкий, узкий, глаза поставлены близко один к другому. Взгляд какой-то сосредоточенный и, заметь, никогда он тебе прямо в глаза не посмотрит, а все как-то мимо… Сам щуплый, плетью пополам перешибить можно, склизкий, а глаза, как у волка… Комок нервов.

– Да, – задумчиво протянул Николай Финогенович, – новое поколение.

– Ну ладно… Я не стал с ним рассуждать. Знаю, таких ни в чем убедить нельзя, они всего света умнее. Вышел я из хаты, запрег бегунки и поехал в поля, душу отвести, хлеба свои поглядеть. А хлеба!.. Пшеница, как солдаты на царском смотру, – ровная, чистая, высокая, полновесная, стеною стоит. Благословение Господне!.. Еду – сердцу бы радоваться, а оно кипит… Моя пшеница… Мои поля. Кобылка вороненькая Льстивая бежит неслышным ходом, играючись бегунки несет – моя Льстивая. А в глубине где-то стучит, стучит, стучит, тревогу бьет, слезами душу покрывает… Нет не твое, нет, не твои… Общественное… Придут, пожгут, отберут, как в пятом году было… Вот эти вот самые *новые люди*… Приехал домой. Сердце не отдохнуло. Ядом налито сердце. Нарочно допоздна провозился на базах, в хату не шел, чувствую, что видеть его просто-таки не могу. И уже ночью пошел к себе. Он спал в проходной комнате, свет из столовой – меня Наденька ожидала с ужином – падал в ту горницу. Мутно виднелась щуплая его фигура под одеялом. Я бросил взгляд на него и думаю: «Вот эти-то вот, слизняки, ничего не знающие, ничего не умеющие, придут и отберут…»

И стала у меня в сердце к нему лютая ненависть…

* * *

Тихон Иванович замолчал. Севший снова на стул Колмыков заерзал, вставать хотел, домой идти, совестно было хозяина задерживать, но Тихон Иванович рукою удержал его.

– Погоди!.. Да погоди же чуток! – почти сердито сказал он… – Дай все сказать… Душу дай облегчить… Ну, ладно… Ночь я не спал. Однако поборол себя, погасил в сердце ненависть, многое продумал. Ведь в конце концов все это только одна болтовня. Молод, неразу-

мен. Стало быть, такие у него товарищи подобрались, книжками, поди, заграничными его наделяют, заразился дурью… С годами сам поймет, какого дурака перед дядей валял. Мне его учить не приходится. Что я ему? – офицер!!. Он за одно это мое звание, поди, меня как еще презирает. Жизнь его научит и образумит. Но только и держать его у себя, сам понимаешь, не могу. Враги!.. Чувствую, вот-вот снова сразимся, и тогда уже не одолеть мне моего к нему скверного чувства. Встал я утром спозаранку. С нею переговорил, – Тихон Иванович кивнул головою на Наденьку, севшую у окна с рукодельем, – она со мною во всем была согласна. Да и то надо сказать – время горячее, уборка идет, рабочих на хуторе видимо-невидимо, кто его знает, может быть, еще и подослан от кого, от какой ни на есть *партии*, пойдет мутить, книжки, брошюры раздавать, с него это очень даже просто станет – неприятностей потом не оберешься. Помолился я Богу, и пока он почивать изволил, вышел я в сад. А там со вчерашнего весь наш смотр остался. Стежки песочком белым понасыпаны. Инспекторский смотр!!.. Собственнический восторг!.. Прошелся я и надумал… Приказал бричку запрягать. Да ведь как его прогонишь? А гостеприимство?.. Да и родной же он мне!.. Дядя – племянника… Иду домой в большом сомнении, а дома она, милушка, все уже по-хорошему устроила. Сговорила, что скучно ему на хуторе, нехай едет людей посмотреть, в Новочеркасск, в Ростов, и даже хотя и в Крым. И денег ему дала – уезжай только от нас, Христа ради, подале. Сам его на станцию повез. Работнику доверить побоялся. Ну как начнет ему свои теории разводить, смущать малого, еще хуже не стало бы. Едем, молчим. Все ожидаю я, скажет он мне на прощанье: «Извините, мол, дядя, я это так по молодости, непродуманно сказал»… ну и там помиримся мы с ним, поцелуемся. Ну ладно… Ничего он мне не сказал. Только так строго и значительно на меня посмотрел. Ей-богу, так посмотрел, казалось, лучше что ли он мне пальцем погрозил бы. Да, послали мы!.. Чисто на свою голову пустили козла в огород.

– Да чего же, Тихон Иванович, еще такого?..

– А вот слушай… Послали. Ну, конечно, мать не утерпела, поручила с оказией моему Степану в корпус разного деревенского гостинца отвезти. Он и отвез. А только как эти гостинцы-то нам обернулись, мы летом узнали, когда Степа к нам на вакации приехал… Да. Подлинно гад…

Тихон Иванович покрутил головой и прошелся по горнице. Колмыков опять завозился.

– Нет… Сиди… сиди… Не обращай на меня внимания. Как все это начну вспоминать, так аж кровь кипит, не могу сидеть. Приехал к нам Степа и через малое время заявляет мне, что он по окончании корпуса не желает идти в военное училище, чтобы по примеру отцов и предков служить царю и Родине в строю, но пойдет в Политехнический институт…

– Да ить не пошел же…

– Не пошел… Да какие у нас разговоры были… «Все, – это он мне сказал, – все люди братья, и не могу я в братскую грудь стрелять, а теперь развитие техники столь могущественное, что всякий должен, если желает быть полезным народу, именно технические науки изучать…» Здравствуйте, пожалуйста… Ну ладно… Понял я откуда этот ветер задул. Значит, тот мне под самое сердце напакостил, сына моего развратил. Будь другие времена, кажется, взял бы тут же нагайку, да на совесть его и отлупцевал бы.

– И то. Ить вы отец. Значит, право ваше такое, чтобы сына уму-разуму учить…

– Отец… Да времена, Николай Финогенович, не те стали. Не те нонеча люди. Поглядел я на Степу, и мне показалось, что и он такой же, как Володя, стал. Глаза от меня отводит. Взгляд неискренний, чужой. Ну, я спорить не стал. Время, думаю, обломает его. Да и кадетская накваска в нем, видать, все-таки осталась. А тут на мое счастье Шурка, племянница, приехала, закрутила, заворожила, опять его ко мне повернула, поговорил я с ним и вышиб дурь эту из головы. А то, поверишь ли, я и сам было чуть не стал сына своего родного ненавидеть.

Тихон Иванович кончил рассказ. Колмыков наконец мог проститься и уйти…

# VI

На другой день, задолго до света, Тихон Иванович с фонарем «летучая мышь» пошел запрягать сани. Наденька в длинной казачьей шубе, в теплой шлычке, в валенках, совсем как простая казачка, вышла провожать мужа. Рано потревоженные лошади храпели, когда работник вздевал на них хомуты и протягивал шлейки. От супони и гужей сладко пахло дегтем, из конюшни тянуло навозным паром. По темному двору квадратами лег свет от окон. Аннушка в шубке на опашь, в ковровом платке носила и укладывала в низкие и широкие розвальни рогожные кульки с ярлыками. Собаки подле суетились и внимательно, со вкусом обнюхивали посылки. Со двора от света окон и фонарей небо казалось темным и холодным.

– Ну, кажется, все, – пересчитывая кульки, сказала Наденька. – Олечке в Петербург, Машеньке в Гатчино, батюшке в Москву, это вот особо – от Николая Финогеновича.

– Готово, что ли, – хриплым, непроспавшимся голосом спросил Тихон Иванович.

– Пожалуйте ехать, – протягивая скрутившиеся ременные вожжи, ответил работник.

Тихон Иванович взялся за грядки саней.

– Ну, с Богом…

В тяжелой длинной шубе, в высокой папахе, в валенках Тихон Иванович долго умащивался на сене, покрытом ковром. Лошади тронули. Работник побежал открывать ворота. Наденька шла рядом.

– Тиша, – сказала она. – Что я тебя попрошу…

– Ну что, дорогая, – придерживая лошадей, сказал Тихон Иванович.

– Как рынком-то проезжать будешь, посмотри, нет ли там елочки?

Мягкая улыбка показалась под усами Тихона Ивановича.

– На что нам, родная, елочка? Малых детей у нас нет.

– А все посидим, посмотрим, как горит она. Шурочка прислала мне украшения, Женя свечки, Гурочка фейерверк комнатный. Зажжем и всех своих так-то славно вспомним. У каждого из нас такая, поди, горит. На звезду погляжу, подумаю: у Олечки такая, у Маши, у Мити в Пржевальске в полковом собрании, у батюшки… Точно как и они все с нами побудут. Сердце отмякнет.

– Ладно. Привезу. Если на рынке не будет, я к Петру Федоровичу проеду, у него в саду молоденькую срубим.

– Разве решил все-таки ехать к нему?

– Хочу жеребца того, что я тебе рассказывал, поторговать. На службу в январе идти, сотней командовать, надо коня иметь на совесть.

– Дорого просит… Нам не управиться.

– Просит тысячу, дам шестьсот, глядишь и поладим. Свой он – не чужой. Одного училища… Уступит…

Тихон Иванович попустил лошадей. Мимо него проплыла бесконечно милая, родная голова в шлычке с неубранными со сна волосами, словно чужая в тяжелой казачьей шубе. Стукнул обвод саней о столбик у ворот, покачнулись на ухабе сани.

В степи казалось светлее. Сильно вызвездило на темно-синем небе. Звезды под утро разыгрались. На ресницы иней налип, и от него казались звезды громадными и мутными. Сухая поземка шуршала по обледенелому крепкому насту. Лошади по льдистой мало наезженной дороге бежали легко и споро. Комья снега щелкали по холщовым отводам саней. Клонило ко сну. Бесконечной казалась степная дорога и длинной зимняя ночь. Все не погасали в небе звезды, не бледнел восток, не загоралась румяная заря.

«Так, так, – думал тихую думу Тихон Иванович. – Что же, если ей так хочется и зажжем мы у себя елочку, как у людей, и вспомним родных и близких. Может быть, из станицы

барышни Чебаковы приедут, ряженые какие-нибудь набредут на елочные наши огни, все ей, моей милой питерской птичке, веселее станет. Рождество Христово… Святки. Привыкла она, чтобы с елкой их встречать».

Лошади бежали – тюп, тюп… Летели комья снега, и не заметил Тихон Иванович, как вдруг погасли в небе звезды, как позеленело холодное небо, а на востоке широко раздвинулась степь и белое вдали небо слилось со снеговыми просторами.

## VII

Последние субботу и воскресенье перед Рождеством семьи Жильцовых и Антонских сходились вместе. Или Жильцовы ехали в Гатчино к Антонским, или Антонские всем своим девичьим царством приезжали в Петербург. Это была традиция семьи. В этом году Марья Петровна с Шурой, Мурой и Ниной приехала к сестре на Кабинетскую улицу и к великой радости Жени, счастливому смущению Гурочки и негодованию Вани – «девчонки!!» – женское царство водворилось в квартире Ольги Петровны.

В субботу обедали раньше, ко всенощной не пошли: «некогда, никак не управиться… Так много надо сделать»… после обеда раздвинули обеденный стол, положили доски, низко спустили над столом лампу и под руководством Шуры принялись клеить и раскрашивать бонбоньерки и украшения для елки. Мура, Ваня и Нина на одном конце стола клеили по готовым трафаретам гирлянды и цепи и оклеивали пестрой бумагой коробки. Под самой лампой в благоговейном молчании уткнулись в работу сама Шура, Женя и Гурочка. Пахло крахмальным клейстером – глубокая тарелка с ним стояла с края стола. Дети возились подле нее, выхватывали друг у друга большую кисть, смеялись и кричали. Под лампой Гурочка, насупив брови, по чертежу, начерченному Шурой, сосредоточенно клеил затейливую звезду, всем звездам звезду, какой нигде и ни у кого не было, звезду, созданную творческим гением Шуры. Женя по указанию двоюродной сестры накладывала краски на изящную коробочку.

– Сильнее, смелее клади сепию, – говорила, нагнувшись к Жене, Шура, – не бойся. Ты все сопельками мажешь. Набери как следует краску и грунтуй ровным взмахом. Тени потом положишь.

Сама Шура, укрепив на деревянном станке необожженную чашку, сделанную по ее рисунку на Императорском фарфоровом заводе, расписывала ее под старый Севр маленькими розочками и незабудками.

Она оторвалась от работы и, отодвинувшись от станка, издали смотрела на написанный цветок.

– Какой ты талант, Шурочка! – тихо сказала Женя.

– Талант!.. Талант!.. – сказала, вздыхая, Шура. – Помнишь: «Таланты от Бога – богатство от рук человека»… Так вот, приношу я рисунок этой самой чашечки на завод. Там посмотрели и спрашивают, где вы учились? Я отвечаю: сначала в школе Штиглица, что в Соляном городке, а потом в Строгановском училище в Москве. Училась, говорю, урывками, потому что и гимназический курс мне проходить тоже надо… А мне и говорят: вам к нам на завод поступать надо. У вас редкая композиция… Вот как мы с тобою!.. Таланты!..

– Нам остается только быть вашими поклонниками, – сказал Гурочка.

– Милости просим, – сказала Женя. – Мы ничего не имеем против этого. Что послала дядям? – обернулась к Шуре Женя.

– Дяде Диме – ремень для ружья, сама сплела из трех тонких ремешков рыжей, серой и черной кожи. Признаюсь, очень красиво вышло.

– Что же нам не показала?..

– Торопилась отправить, и так боюсь, что припоздает к самому Рождеству. А дяде Тише, ты же видала, серебряный стаканчик и на нем колосья… Пусть целая горка серебра у него будет моей работы.

Когда мать или тетка входили в столовую, там поднимался переполох. Шуршали бумагой, спешно прикрывая работы от нескромных взглядов. Все это ведь были сюрпризы, секреты, тайна!.. Негодующие раздавались голоса:

– Мамочка, нельзя… Сколько раз мы просили не входить, пока мы не кончим.

– Тетя, ради Бога! Оставьте нас на минутку одних!

– Мамочка, не гляди!

Смущенные тем, что потревожили детский муравейник, сестры спешили уйти.

– Я за рюмкой только… На стол накрывать пора.

– Сейчас, мамочка… Дай только спокойно нам все прибрать.

Сильнее пахло скипидаром, лаком и клейстером, в большие корзины сваливали готовое и неготовое, чтобы завтра, до света продолжать. Дела – уйма!.. Золотить и серебрить орехи!.. Надо все сделать самим! Так дешевле! Отцы, Матвей Трофимович и Борис Николаевич, сомневались в дешевизне такого способа, но не прекословили. Так лучше! В этом и отцы не сомневались. Своя работа!..

– Скажи мне, Женя, почему Володя никогда не примет участия в нашей работе. Или он считает это для себя унизительным?.. Студент!.. – тихо сказала Шура, отрываясь от своей чашки и отвинчивая от стола станок.

– Не знаю, Шура. Володя теперь с нами никогда не разговаривает. Он и дома-то почти что не бывает… Совсем от нас отбился.

Шура подняла голову на Женю. Они были однолетки, но Шура казалась старше своей двоюродной сестры. Высокая, полная, с нежными русыми волосами, с глубокими синими глазами, – она была очень красива, совсем «взрослой» женской красотой. Она посмотрела на Женю долгим взглядом. Дети с шумом и смехом потащили в свои комнаты корзину с «секретами». Девушки остались одни.

– Я знаю, что Володя в партии, – чуть слышно сказала Шура.

– В какой?..

– Не сумею тебе сказать. Он не пояснил… Да и все это было так сумбурно, кошмарно… Точно во сне… Я на прошлой неделе была с ним на митинге.

– На митинге? – с неподдельным страхом спросила Женя.

– То есть, если хочешь, это не был настоящий митинг… Массовка, как они говорят.

– Интересно… Расскажи…

– Как сказать? Мне не понравилось… Когда ляжем спать, я «тебе буду рассказать»…

В столовую вошла Параша.

– Пожалуйте, барышни. Тетенька сердятся, второй самовар выкипает.

– Ах, пожалуйста. У нас все готово, – вспыхнув, сказала Шура и пошла с Женей из столовой.

## VIII

Марья Петровна с Мурой и Ниной спали в спальне у Ольги Петровны. Шура у Жени. Женя уступила кузине свою узкую девичью постель, над которой висел на стене, на голубой ленте с широким бантом, писанный на эмали художественный образ Казанской Божией Матери. Женя устроилась на маленьком диванчике, к которому был привязан стул.

На письменном столе горела маленькая электрическая лампочка под шелковым синим абажуром. От нее мягкий и нежный ровный свет падал на изголовье Жениной постели. Шура сидела на ней, облокотившись на высоко поднятые подушки. Волосы цвета спелой ржи были

скручены небрежным узлом и переброшены лисьим хвостом на грудь, на белую не смятую ночную сорочку. Маленькие локоны вокруг лба светились серебряным нимбом. Глаза в тени волос казались темными и огромными. Полное гибкое тело по-кошачьи мягко изогнулось на постели. В свете лампы виднее стала молодая грудь под голубыми ленточками прошивок. Несказанно красивой показалась Шура Жене.

– Тебя так написать, – сказала Женя. – Совсем картинка Греза будешь.

– Скорее Фрагонара или Маковского, – улыбаясь спокойной ленивой улыбкой, сказала Шура. – Ну полно… Глупости… Кто теперь меня напишет?.. Век не тот.

– Какой же такой век? Разве не будут нас любить?.. Почитать наши таланты, восхищаться нами? Страдать по нас? Преклоняться перед чистой девичьей красотой?.. Ты ведь, Шура, и сама не замечаешь, какая ты прелесть!..

– Любить нас?.. Пожалуй, что и не будут… Желать нас – да… Издеваться над нами… Да… Заставят нас работать под предлогом равноправия с мужчинами… да…

– Откуда ты это взяла?..

– Все от Володи. Он ведь меня просвещать все хочет, завербовать в свою партию. А какая это партия – Господь ведает.

– Как интересно!

– Нет… Совсем неинтересно… Да вот, слушай. Я давно приставала к Володе, чтобы он познакомил меня со своими товарищами. Там ведь много и женщин бывает – курсисток, работниц с фабрик. Он как-то уклонялся. Он хотел, чтобы я была только с ним.

– Ревновал?..

– Кто его знает…

– Ну, рассказывай, Шурочка. Ты не очень спать хочешь?.. Я от одного ожидания твоего рассказа как волнуюсь, воображаю, каково было тебе!

– Да, я очень волновалась. От этого я плохо соображала, что происходит, и очень смутно все помню. Точно во сне все это мне приснилось. Это было, как мне кажется, разрешенное, *легальное* собрание. Кажется, оно было пристегнуто к какому-то литературно-поэтическому кружку. По крайней мере там была какая-то толстая писательница, которая должна была потом читать свои произведения, были и какие-то странные и совсем мало воспитанные поэты.

– Поэты?.. Господи!..

– Это было на Невском. Где-то недалеко от Владимирской, кажется даже, что это было в зале газового общества. Был слякотный вечер, Володя встретил меня на вокзале.

– Володя встретил!.. Подумаешь, Шурочка, какая честь!..

– Мы поехали на трамвае до Невского, потом шли пешком. Помню, на панелях была жидкая, серая, растоптанная грязь и мы оба скользили по ней. Было очень много народа, и мне казалось, что все на нас смотрят. Мы поднялись прямо с улицы на четвертый этаж по скудно освещенной лестнице, и Володя провел меня из тесной прихожей в маленькую узкую комнату. Там за длинным столом, накрытым клеенкой, сидело человек пятнадцать. Мне никого не представляли, ни с кем не знакомили. Точно вошли в вагон, что ли? Помню – очень яркое, режущее глаза освещение лампочек без абажуров, гул многих голосов, говоривших одновременно, кто стоял, кто сидел. Грязь на столе. Граненые стаканы с чаем и пивом, бутылки, хлеб, неопрятная масленка с остатками масла, кожура от колбасы и противный запах пива и дешевой закуски. Валяются окурки. Кажется, еще было сильно наплевано кругом.

– Бррр, – брезгливо поморщилась Женя. – Вот так Володя!.. А дома, чуть что не так, посуду швыряет.

– Дома он – барин… Тут – товарищ, – тихо сказала Шура. – Так вот… Кто-то кричал: «Нет, коллега, он не “акмеист”, он просто бездарный поэт». Ему отвечали и, по-моему,

невпопад, – «называть Блока футуристом – позор!..»[1]. Сидевшая посередине стола толстая дома – она-то и оказалась писательницей, – курившая толстые мужские папиросы, сказала густым, точно мужским голосом: «Ну уже и позор! Вы всегда преувеличиваете, Бледный». Увидав Володю, она поднялась со своего места и, протягивая через стол руку Володе, сказала: «Что же, коллеги, начнем. Виновник торжества налицо. Идемте в зал». Какой-то человек, которому Володя указал на меня, коридором провел меня в зал. Там было полно народа и очень душно. Собственно говоря, мне некуда было сесть, но мой спутник шепнул что-то студенту, сидевшему во втором ряду стульев, и он уступил мне место. Садясь, я оглянулась. В зале было много людей по виду простых, рабочих, должно быть. Все они были принаряжены, в чистых пиджачках, в цветных сорочках с галстуками и с ними девушки тоже просто, дешево, но парадно принаряженные. Напротив, интеллигенция, студенты и эти вот «поэты» были подчеркнуто небрежно одеты. Барышни в неряшливых кофточках, стриженые, растрепанные, с горящими глазами, экзальтированные. Передо мною сидела пара, хоть на картину: он – студент в красной кумачовой рубашке навыпуск, подпоясанный ремнем, в студенческой тужурке на опашь, красный, рыжий, толстый, потный, едва ли не жид, она тоже жидовка, рыхлая, все у нее висит, блузка под мышками насквозь пропотела и точно немытая. Перед нами нечто вроде эстрады. На ней стол, и за столом сидит человек пять, самая молодежь… Туда сейчас же вышел Володя. Его встретили аплодисментами.

– Аплодисментами!.. Воображаю, как ты им гордилась!

– Он поклонился и сел. Потом и, как мне показалось довольно долго, впрочем, я так волновалась, что у меня совсем утратилось ощущение времени, выбирали председателя и президиум. Председательницей выбрали писательницу, она сухо поблагодарила за избрание и села за середину стола. Развернула какую-то бумагу и скучающим голосом произнесла: «Объявляю собрание открытым. Слово предоставляется товарищу Владимиру Матвеевичу Жильцову».

– Подожди… Как был одет Володя?..

– Как всегда. В своей куртке с отложным воротником. Шея и грудь открыты. Он встал, нагнулся вперед, голова задрана кверху, одна рука в кармане.

– Как он говорил?.. Он же должен хорошо говорить. Дедушка считался лучшим проповедником. О чем же он говорил?..

– Быть может, потому, что все-таки я продолжала очень волноваться, я плохо как-то запомнила его речь. Да многого и не поняла. Как могли его понимать рабочие?.. Говорил он складно, пожалуй, хорошо, без запинки. Но постоянно повторялся, точно вдолбить хотел свою мысль, и очень уже долго. Больше двух часов. Я устала.

– А те?.. Слушатели?..

– Было… Как тебе сказать – благоговейное молчание. Нахмуренные брови, серьезные суровые глаза устремлены на Володю. От него ждут чего-то. Иногда раздастся подавленный вздох. Кто-то захотел закурить. На него цыкнули… «Не смей курить!.. Слушай, что говорит».

– О чем же говорил Володя?

– Он говорил о Боге и о материализме. Он говорил о полной свободе современного человека, свободе прежде всего от семьи и государства. Он ловко, так сказать, жонглировал, что ли, евангельскими текстами. Он говорил о смерти и что со смертью все уничтожается, что нет никакой души и, следовательно, никакой посмертной жизни. Он издевался над православной религией и над спиритами. Он грубо и жестко рассказывал о сожжении покойников в крематории, об опытах отыскания человеческой души и ее – он так и сказал – «химической субстанции». Ее не нашли, заключил он. Если слушать только его слова – ничего

[1] Акмеисты – от греческого слова «акме» – вершина – группа поэтов, основанная Сергеем Городецким и Н.С. Гумилевым в 1912 году. Почти одновременно появились и футуристы с Игорем Северяниным и Маяковским.

особенного, то, что называется «запрещенного», в его речи не было: в газетах часто хуже пишут, но, если вдуматься во весь смысл его речи, – в ней было такое дерзновенное кощунство, такое издевательство над всем тем, что мы привыкли с детства почитать, что стало для нас священным и неприкосновенным, над церковью, над семьей, над матерью и над материнским чувством. Он ни разу не назвал имени государя, а вместе с тем вся его речь была проповедь ненависти к государю, к церкви и семье. По временам, когда он слишком резко и цинично отзывался о священном для нас, «поэты» довольно ржали, и легкие аплодисменты раздавались со стороны интеллигентной части аудитории. Когда он кончил, были опять аплодисменты и опять аплодировала только интеллигентная часть. Ее, видимо, захватило дерзновение Володи. Рабочие, казалось, были подавлены и не разобрались во всем том, что было сказано, так все это было смело и ново. После Володи писательница читала свой рассказ. Я совсем не помню его содержания. Рассказ показался мне бледным. Слушали ее невнимательно. По залу слышались тихие разговоры. Девушки работницы хотели танцевать. Когда писательница наконец кончила свое чтение, Володя спустился ко мне и сказал: «Пойдем. Тебе нечего здесь оставаться». Молча мы вышли и спустились по пустой и скучной лестнице. Наверху топотали ногами. Тащили что-то тяжелое, вероятно, устанавливали пианино и прибирали стулья. На Невском было очень людно и шумно. Мчались трамваи. Не говоря ни слова, дошли мы до Владимирской. Когда свернули на нее и стало меньше пешеходов кругом, Володя обратился ко мне: «Ну как, Шура?.. Поняла ты меня?..» Я промолчала. Рыдание подходило клубком к моему горлу, и я боялась выдать себя. Мы приближались к остановке трамвая. Я не пошла к ней, и мы продолжали шагать по Владимирской. «Это новая религия, – сказал Володя. – Она будет сильнее христианства. Это и есть чистый социализм»… Я все молчала. Мы проходили мимо магазина гробовых дел мастера. Окна были в нем освещены, и мне особенно мрачными показались выставленные в нем гробы, венки и принадлежности погребения. «Это, Шура, будет… Да!.. Будет!» – говорил Володя и странным образом слова его сливались в моем представлении с гробами и с мыслью о неизбежности и лютости смерти… «Как ни боритесь вы со своими городовыми и казаками, как ни загоняйте народ казацкими нагайками в российский государственный застенок… Это будет!.. Партия сильнее правительства. Партия всемирна. Это вам не Христово сквернекое учение – это социализм чистой воды!..» Я собрала все силы, чтобы не показать своих слез, и сказала: «Замолчи, Володя!.. Ты и сам не понимаешь, что говоришь… Это великий грех…» Он как-то странно хихикнул и сказал: «Грех?.. А что такое – грех?..» «Оставь, Володя, – сказала я. – Ты сам отлично знаешь, что такое грех. В твоих словах… Во всем, что я сейчас слышала и видела, прежде всего не было красоты. Зачем ты меня сюда водил, ты знаешь, что для меня красота!.. Все это было просто гадко…» Володя засмеялся: «Нет, это уж, ах оставьте… Довольно красоты… Красоты вам не будет… Этих чистых линий, белых колонн, золотых куполов под небом… Как может это быть, когда рабочий угнетен и голоден, когда он забит капиталистом, когда его удел вонючая берлога. Кровавым потом рабочих покрыто лоно земли. Везде царит произвол!.. Прибавочная стоимость!.. придется вам проститься с нею, господа капиталисты. Мы построим свои дворцы и храмы. Грандиозно все это будет, но гнуть будет к земле, давить будет, а не возноситься кверху к каким-то там небесам. Нам неба не надо!..» Мы шли мимо Владимирской церкви. С голых ветвей окружающего ее сада падали тяжелые ледяные капли. Оттепель продолжалась. Огни уличных фонарей тускло отражались в золотых куполах маленьких часовен. Стройны и воздушны были линии собора и высокой колокольни, ушедших от улицы в глубь сада. Молча прошли мы мимо собора. Я перекрестилась. Володя равнодушно отвернулся. Я опять прошла мимо остановки трамвая. «Ты опоздаешь на поезд», – сказал мне Володя. «Володя, – сказала я, – оставь меня одну. Дай перегореть во мне всему тому, что я узнала сегодня». Он фыркнул и остановился закуривать папиросу. Я невольно стала подле него. «И ты, – сказал он, – как дядюшка казацкий есаул – вот еще

мракобес! – прогоняешь меня. Так попомни. Первые христиане тоже всеми были гонимы. И правительством, и близкими». Я собрала все свои силы и как только могла спокойно сказала: «Это не то. Там была религия любви»… Володя приподнял над головою фуражку и со страшною силою сказал: «Здесь – ненависти!.. Ты меня поняла!.. И отлично это будет. Их надо ненавидеть!.. Их топтать надо!.. Гнать!.. Истреблять!.. Ненависть!.. Ты узнаешь когда-нибудь, как может быть сильна ненависть. Она сильнее любви». «Но любовь победит», – сказала я и круто повернула назад к трамваю. Он не пошел за мною, и мы расстались, не сказав слова прощания, не пожав друг другу руки. Я будто видела, как он шел, хмурый и злой, с опущенной головой по темной Большой Московской. Я села в трамвай. Мне было безотчетно жаль Володю».

## IX

В сочельник с утра обе семьи в полном составе, кроме Володи, убирали елку. Впрочем, «мужчины», Борис Николаевич Антонский и Матвей Трофимович, оказались очень скоро не у дел. Они попробовали было помогать, но на них закричало несколько голосов:

– Папа, не подходи! Ты уронишь елку.

– Дядя Боря, смотри, зацепил рукавом подсвечник. Нельзя так неаккуратно.

– Да я хотел только помочь, – оправдывался Антонский. – Вам не достать, а я ишь ты какой высокий.

– Папа, тебе вредно руки поднимать и на цыпочки становиться. Это все сделает Гурочка.

– Ну как хотите. Пойдем, Матвей Трофимович.

Они отошли в угол зала и сели в кресла, и только Матвей Трофимович, достав портсигар, приготовился закурить, как Женя набросилась на него:

– Папочка, где елка, там нельзя курить. Ты нам своими папиросами весь рождественский аромат убьешь.

– Дядечка, не курите, пожалуйста, – закричали Мура и Нина.

– А да ну вас, – отмахнулся от них Матвей Трофимович. – Пойдем, Борис Николаевич, ко мне в кабинет.

– Так и лучше, – солидно сказала десятилетняя Нина, – а то эти мужчины всегда только мешают.

Гурочка, взобравшись на стул, поддерживаемый Женей, весь перегнулся в верхушке елки и проволокой крепил там замечательную свою звезду. Шура подавала ему свечи.

– Поставь сюда… И здесь… Надо, чтобы отсвет падал от звезды. Теперь пропусти этот серебряный иней. Меньше… меньше клади. Наверху всегда немного.

Ольга Петровна с Марьей Петровной, сидя на диване перед круглым столом, розовыми ленточками перевязывали яблоки и мандарины. Ваня вставлял свечи в маленькие подсвечники, Мура и Нина наполняли бонбоньерки мелким разноцветным блестящим «драже».

– Нет, в наше время, – вздыхая, сказала Ольга Петровна, – елку совсем не так убирали. Елка была тайна для детей. Ты помнишь, Машенька?

– Ну как же, – отозвалась Марья Петровна. – Батюшка с матушкой так елку привезут, что мы, дети, и не узнаем того. Только по запаху, да по тому, что дверцы в зальце на ключ заперты догадаемся, – значит, елка уже в доме. И вот станет тогда во всем доме как-то таинственно, точно *кто-то* живой появился в доме. И этот живой – елка.

– А в сочельник, – оживляясь, продолжала Ольга Петровна, – батюшка с матушкой запрутся в зальце, а нас еще и ушлют куда-нибудь и взаперти без нас и уберут всю елку, и подарки всем разложат.

– Я как сейчас помню ключ от гостиной. Большой такой, тяжелый.

– Так роскошно тогда не убирали елок. Снег этот из ваты, серебряный иней только-только тогда появлялись. У нас их не употребляли совсем.

– Больше, помнится, Леля, яблоки вешали и мандарины. Яблочки маленькие «крымские». Они так и назывались – елочные.

– С тех пор как услышу, где пахнет мандаринами, – все елка мне представляется.

– Мы их тогда так, как теперь среди года-то, и не ели никогда, только на елке.

– Тетя, – сказала Женя, – ваше детство было полно тайны. Что же, лучше это было?..

– Лучше?.. Хуже?.. Кто это скажет?.. Папа наш, сама знаешь, был священник, от этого в доме было много того, что вы теперь называете мистикой. Елка нам, детям, и точно казалась живой, одушевленной. Когда в первый день Рождества я одна утром проходила через зальце, где в углу стояла разубранная елка, мне казалось, что она следит за мною, мне казалось, что она что-то думает и что-то знает такое, чего я не знаю…

– Елка думает… Вот так-так!.. – воскликнула Мура. – Мама, да ты это серьезно?

– Совершенно серьезно. Конечно, это сказки на нас так действовали. Мы Андерсеном тогда увлекались, «Котом Мурлыкой» зачитывались, многое неодушевленное одушевляли. Выбросят елку после праздников на помойную яму, на двор, лежит она там на грязном снегу, куры, воробьи по ней ходят, прыгают, а у нас с Машенькой слезы на глазах: как елку жаль!.. Как за людей стыдно! Обидели елку… Это в нас совершенствовало душу, оттачивало ее. И как теперь без этого? Пожалуй, что и хуже.

– Мамуля, да тебе сколько лет тогда было? – спросила Мура.

– Ну сколько?.. Немного, конечно, а все – лет восемь, десять было. Да и потом… И даже сейчас это чувство жалости к брошенной елке осталось. Осталось и чувство обиды за человеческую жестокость и несправедливость.

– Мы, Мура, – сказала Ольга Петровна, – тогда совершенно искренно верили в мальчиков, замерзающих у окна с зажженной елкой, в привидения и в чертей.

– В чертей! – воскликнул Гурочка. – Вот это, мама, ты здорово запустила! Это я понимаю! Хотел бы я посмотреть хотя раз, какие такие черти на свете бывают!

– Благодари Бога, что никогда их не видал, – тихо и серьезно сказала Ольга Петровна. – Не дай бог дожить до такого времени, когда они себя в миру проявят. Вот Женя спросила, лучше ли было в наше время? Лучше, не скажу… Но, пожалуй, добрее… Тогда мы не могли так жестоко поступать, как… как Володя…

В ее голосе послышались слезы. Марья Петровна обняла сестру за плечи и сказала:

– Мы все всегда были вместе. Три сестры и брат. Дима на праздники приходил к нам из корпуса или из училища. Это потом уже разбросала нас судьба по белу свету. Да и разбросанные мы никогда один другого не забываем.

Несколько минут в гостиной стояла напряженная тишина. Наконец тихо сказала Ольга Петровна.

– Вот и сейчас неспокойно у меня на душе оттого, что подарок от дяди Димы еще не пришел. Я знаю, что позабыть нас он не мог, и если нет ничего… Невольно думаешь о болезни… О худом…

– Могла транспортная контора опоздать, – сказала Шура.

– Очень уж далеко, – вздохнула Марья Петровна.

– Ну что думать да гадать, – точно встряхнулась Ольга Петровна, – давайте ваши подарки, раскладывать будем под елкой.

Понесли большие и маленькие пакеты, неизменно завязанные в белую бумагу, с четкими «каллиграфическими» надписями: «маме от Нины», «тете Оле – угадай от кого», были подарки и для Володи, но от Володи ничего никому не было.

Он был новый человек. Он этого не признавал.

Он был – выше этого!..

* * *

До звезды в этот день не ели. В полуденное время у молодежи особенно щипало в животах, но за работой раскладывали на блюдцах рождественский гостинец – пряники, орехи, пастилу, мармелад, крупный изюм, сушеные винные ягоды, финики, яблоки и мандарины и другие сласти – и надписывали, кому какая тарелка, – про голод позабыли. Все делили поровну. Никого нельзя было позабыть или обделить. Тарелки готовили не только членам семьи, но и прислуге.

В столовой не спускали штор. В окно была видна крыша соседнего флигеля. Толстым слоем, перегибаясь через край, снег на ней лежал. Из труб шел белый дым. Над ним зеленело темнеющее вечернее холодное небо.

И старые и малые – старые из школы, малые от старших знали – еще бы, Матвей Трофимович ведь математик и астроном! – что никакой такой особенной «Рождественской» звезды не бывает, что все звезды давно расписаны по координатам и внесены в особый звездный календарь, да в прошлом году еще Володя со злой насмешкой сказал о разнице в стилях, о неточности счисления и вообще вздорности Евангелия, и тем не менее… Каждый по-своему и потаенно от других все-таки верил, что вот ему, может быть, даже ему только одному, какая-то таинственная звезда все-таки явится и будет светить на востоке, как некогда светила она волхвам и пастухам.

И когда Мура из столовой, окна которой были на восток, крикнула дрожащим от волнения голосом: «Мамочка, тетя!.. Звезда!..» – все, и старые и малые, гурьбою хлынули в столовую.

Столпились у обоих окон, украшенных по низам Дедушкою Морозом, и смотрели на небо. На дворе уже легли сумерки. Снег на крыше казался тяжелым и темным. Прямо над крышей в темном сине-зеленом хрустале тихо светила одинокая звезда. Сквозь тонкую ледяную пленку, покрывшую стекла, она казалась большой, расплывчатой, таинственной и особенной. Никто не хотел знать, какая это звезда, и, если бы сейчас кто-нибудь сказал, что это просто «вечерняя звезда» – Венера или какая-нибудь другая известная астрономам звезда, – тот человек сделал бы величайшую бестактность и на него посмотрели бы с негодованием. В этот вечер, все равно где, под какими бы то ни было широтами это было, – это была совсем особая, таинственная звезда, никому не известная, именно та самая, что в *ту* великую ночь явилась, чтобы возвестить людям Рождение Спасителя мира.

На кухне уже тоже приметили долгожданную звезду, и Параша, разодетая, в белом, крахмальном фартуке с плойками, принесла завернутое в полотенце блюдо с кутьею и в дверях столовой торжественно провозгласила:

– Пожалуйте, господа!.. Со звездою!..

* * *

Ко всенощной в большую гимназическую церковь пошли все, оставив дома старую кухарку, давно уже не служившую у Жильцовых. Она была в богадельне, но на праздник явилась к бывшим своим господам. «Как же можно-то иначе?.. Чтобы своих господ не поздравить?.. На елке ихней не побывать?.. Про здоровье, про житье их бытье не расспросить. Все на моих глазах, почитай, что и родились… Какими махонькими их знала»… Она тоже всем привезла свои подарки. Ольге Петровне связала напульсники из шерсти, Володечке и Гурию перчатки, Жене мешочек и Ване шарф. И как она была довольна, когда Шура все ее подарки завернула в белую бумагу, перевязала ленточками и по ее указанию надписала своим краси-

вым почерком: «барыне Ольге Петровне от Авдотьи»… «Владимиру Матвеевичу от кухарки Авдотьи»…

– И уже пожалуйста, барышня, и мои подарочки под елку положьте, только так, чтобы не слишком приметно было, – говорила она, любуясь на ладные пакетики.

В церкви было празднично, людно, но чинно и без толкотни. Впереди стройной черной колонной стали гимназисты, маленькие впереди, большие сзади… Прихожане – все больше родители и родственники учащихся – стали за решеткой и наполнили всю церковь, заняли узкий притвор и бывший за ним физический кабинет. Большой гимназический хор был разделен на два и стал на обоих клиросах. Ольга и Марья Петровны стояли впереди, сейчас же за решеткой, на почетных местах, рядом с ними красивой шеренгой стали барышни, одна краше другой. И когда вдруг вспыхнули по всей церкви высокие люстры и хоры стали ликующими праздничными голосами перекликаться «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума…» Ольга Петровна оглянулась счастливыми маслянистыми глазами на своего Матвея Трофимовича. Очень он ей показался молодым и красивым в новом темно-синем вицмундире, с орденом на шее, едва прикрытым редкой седеющей бородою. Рядом, высокий и статный, худощавый, стоял Борис Николаевич в длинном черном сюртуке, Ольга Петровна улыбнулась и подмигнула мужу на дочь и племянниц. Тот сановито подтянулся.

«Да, есть, есть что-то особенное, – подумала Ольга Петровна и стала смотреть на барышень. – Поймут ли они, запомнят ли, унесут ли в череду лет это священное волнение и познают ли всю сладость веры». Она перекрестилась и снова стала отдаваться веселому пению хора, где и голос ее Гурочки, казалось ей, был слышен.

Барышни стояли чинно и спокойно. Шура опустила голову, Женя подняла свою, и огни люстр отразились звездными сверканиями в ее темных голубых глазах. Прекрасной показалась она матери. Ольга Петровна опять вздохнула. Красота и талант, вдруг открывшийся в дочери, казалось, ее испугали. Сама скромная и простая, она подумала: «Нелегка будет ей жизнь» – и еще горячее стала молиться.

Когда шли домой, снег под ногами хрустел. Во многих домах уже позажигали елки, и где не были опущены шторы, они весело горели множеством огней, где они были за шторами – казались еще заманчивее, еще таинственнее. В морозном воздухе крепко пахло снегом, елочной хвоей, пахло Рождеством…

* * *

Елку зажигали Гурочка и Ваня. Барышни стояли кругом и следили, чтобы не было забытых свечей. В их ясных блестящих глазах отражались елочные огоньки и играли, придавая им несказанную прелесть. Еще моложе, юнее, невиннее и прекраснее стали они.

– Ваня, вон, смотри, над орехом…

– Гурий, не видишь?.. Красная, под самой звездою…

– Я тебе говорил, в сто крат лучше было бы пороховой нитью окрутить – враз бы зажглось.

– Стиль не тот, – мечтательно сказала Шура. – Именно в этом и есть *елка*, когда она постепенно освещается и как бы оживает. Есть люди, которые елку электрическими лампочками освещают… Так разве это будет елка?

Все лампы в гостиной были погашены, и в ней стоял теплый желтоватый свет множества елочных свечей. В этом чуть дрожащем свете совсем по-новому выглядела гостиная, стала уютнее и приятнее. Вдруг пахнёт горелой хвоей, задымит белым дымком загоревшаяся ветка, и кто-нибудь подбежит и погасит ее. Все примолкли и смотрели на елку. Блеснет от разгоревшейся свечи золотой край бонбоньерки, станет виден сверкающий орех, притаившийся в самой гуще ветвей, и снова спрячутся, исчезнут. Было в этой игре елочных огней

совсем особое очарование, и никому не хотелось говорить. Но постепенно, точно ни к кому не обращаясь, стали делиться мыслями, воспоминаниями, все о ней же, о елке.

– Я помню мою первую елку, – музыкальным голосом, точно произнося мелодекламацию, сказала Женя. – Это было на Сергиевской у дедушки. Он тогда был в Петербурге. Мы его очень долго дожидались, он служил в соборе.

И опять долго молчали.

– Я помню тоже, – сказала Шура. – Бабушка еще была жива.

– Вот я уже скоро и старик, – сказал Матвей Трофимович, – а люблю-таки елку. Все нет у меня времени заняться живописью как следует. Да вот, как выйду в отставку, на пенсию, вот тогда уже держитесь – напишу елку, да какую – во весь рост!.. И дети кругом. Огоньки горят. А по углам этакий прозрачный сумрак, в рембрандтовском стиле…

– А что же, дядя, красивая картина вышла бы! И как интересно передать эту игру огоньков в тени ветвей, – сказала Шура.

– Тетя, – сказала Женя, – правда, что вы один раз устроили елку прямо в саду, не выкапывая ее?

– И зажгли? – спросил Ваня.

– Да правда же… В Гатчине. Мы совсем молодыми были. Детей никого еще не было. Очаровательная была елочка, в нашем саду среди деревьев в инее.

– Она еще и сейчас цела, – сказал Борис Николаевич, – большая только стала.

В прихожей как-то застенчиво робко зазвонил звонок. Параша, стоявшая с Авдотьей у дверей, сказала Ольге Петровне:

– Барыня, навряд ли это Владимир Матвеевич, не их это звонок. Если чужой кто, что прикажете сказать?..

– Да кто же чужой-то? Ох, не телеграмма ли? Боюсь я телеграмм.

Дверь в прихожую притворили, и все примолкли, прислушиваясь к тому, что там делается. Послышался стук чего-то тяжелого и сдержанный мужской голос.

Муся на носочках подошла к двери и смотрела в щелку.

– Тетя, там офицер или юнкер, – шепотом сказала она.

– Какие глупости ты говоришь, – тихо сказала Ольга Петровна.

Гурочка, за ним Ваня прокрались к двери.

И точно – в прихожей Параша с каким-то офицером, в пальто и фуражке, распаковывали, освобождая от рогож, какой-то большой деревянный ящик. Офицер вынул из ножен шашку и ею прорезывал рогожу по швам. Параша с Авдотьей поворачивали, видимо, очень тяжелый ящик.

– Я думаю, что это от дяди Димы, – тихо сказал Гурочка.

– Офицер?.. Правда?..

Гурочка кивнул головой.

– Я думаю, его надо все-таки пригласить, – сказала Ольга Петровна.

– Да… да, конечно, – шепотом сказал Матвей Трофимович, – я пойду.

– Постой, это я должна сделать… Хозяйка…

– Как знаешь.

Ольга Петровна посмотрела на цветник барышень. Ей вдруг стало страшно. Ее щеки покрылись румянцем волнения. «Офицер?.. Кто его знает, какой он?.. Все-таки – офицер… Не пошлет же к ним дядя Дима кого-нибудь?..»

Торопливыми шагами пошла она в прихожую. Офицер продолжал орудовать шашкой. Он освободил уже от рогож ящик и теперь, просунув лезвие под верхние доски, отдирал его крышку.

– Простите, – сказал он, выпрямляясь и держа шашку в руке. – Имею от штабс-капитана Тегиляева приказ вскрыть у вас этот ящик и содержимое под елку положить. Да, кажется, припоздал маленько. Елку у вас зажгли уже.

– Дмитрий Петрович Тегиляев мой родной брат, – сказала, улыбаясь, Ольга Петровна. – Он опять что-нибудь для нас придумал, чтобы побаловать нас. Пожалуйте к нам. Будьте нам гостем.

Офицер еще осанистее выпрямился и представился:

– Сотник Гурдин.

– Вы из Пржевальска?..

– Почти что. Мой полк стоит в Джаркенте. А сейчас я вот уже скоро год в командировке в Петербурге.

– Так пожалуйте же к нам, – протягивая руку Гурдину, сказала Ольга Петровна.

Офицер положил шашку на деревянный табурет, снял фуражку и почтительно поцеловал руку Ольге Петровне.

– Благодарствую, – сказал он. – Дмитрий Петрович писал – только передать и сейчас же уйти.

Лукавые искорки загорелись в глазах Гурдина. Он не сказал, что в письме еще написано было: «Лучше даже и не входи… Так, в щелочку на елочку посмотри. А то, брат казак, мои племянницы бедовые девицы. Не дай бог влюбишься, потеряешь в Питере казачье свое сердце»…

Эти «бедовые девицы», казалось, ощущались за дверями прихожей.

Ольга Петровна смутилась еще больше.

– Нет уж, пожалуйста, – как-то строго и настойчиво сказала она. – Нельзя же так и уйти. Брат рассердится. Мы вас как родного просим.

Она прямо в лицо посмотрела офицеру. Очень хорош!.. Румяное от мороза и возни с ящиком лицо было круглое и в меру полное. Черные волосы были припомажены на пробор. Серые глаза смотрели смело и зорко. Хитрый, должно быть, казак… И опять испугалась за барышень. Очень показались ей хороши маленькие усики, точно кисточки легкие над верхней губою. Но, испугавшись, она еще решительнее сказала:

– Нет… нет. Никак это невозможно. Елочку нашу поглядите. У вас, поди, никого и близкого здесь нет.

– Да никого и нет, – простодушно сказал офицер.

– Ну вот и пожалуйте.

– Что же, вынимать, что ли? – сказала Параша, развертывавшая бумагу. – Страсти-то какие! И где это такого зверюгу Дмитрий Петрович только достали?

– Позвольте я сам. Там еще внизу ящички лежат для барышень.

Из вороха бумаг, древесных стружек и опилок показалось чучело громадной головы кабана, укрепленной на дубовом щите. Желтоватые клыки торчали кверху, при свете лампы стеклянные глаза злобно поблескивали.

Офицер передал чучело кабана Параше и сказал:

– Только крепче держите, в ней полтора пуда веса.

– Господи!.. Какое страшилище, – повторила Параша, обеими руками принимая чучело.

Гурдин порылся в соломе, достал из нее два длинных ящичка, завернутых в тонкую китайскую бумагу, и подал их Ольге Петровне:

– Это, – сказал он, – Дмитрий Петрович просил передать его старшим племянницам. Это перья белой цапли, то, что называется «эспри», тоже его охоты.

– Ну а теперь прошу вас, – сказала Ольга Петровна.

Двери точно сами собою распахнулись. Впереди всех пошла в зал Параша с кабаньей головой, за нею Ольга Петровна и Гурдин.

В праздничном, золотистом, точно таинственном свете елочных огней Гурдин прежде всего увидал двух барышень в светло-кремовых платьях, одну повыше, блондинку, с голубым бантом на поясе, другую шатенку, с розовым, потом заметил еще двух девочек-гимназисток, в форменных коричневых платьях, еще было два гимназиста, и из-за стола с дивана навстречу ему поднялись два пожилых человека и высокая красивая дама.

– Это вот старшая моя, – сказала Ольга Петровна, показывая на красивую шатенку, – Евгения Матвеевна.

«Евгения Матвеевна», кажется, ее первый раз так официально назвали, точно загорелась, вся запунцовела от непонятного смущения и нагнулась в церемонном книксене, изученном в гимназическом танцклассе. Гурдин тоже как будто очень смутился и растерялся, но к нему подошел высокий человек в черном сюртуке и овладел гостем.

– Что долго и церемонно так представлять, – сказал он, беря Гурдина под локоть, – это моя Шура, прелестный мой дружок, а то мои младшие… Жена моя, а это, простите, ваше имя и отчество?..

– Геннадий Петрович.

– Так-то, батюшка мой, Геннадий Петрович. Хорошо вы к нам попали, в наше женское царство. И в какой прекрасный праздник!.. Где же вы такого редкого зверя ухлопали?.. Как давний преподаватель естественных наук могу уверить вас – редчайший по величине и красоте экземпляр.

– Это дядя Дима убил или вы? – краснея, ломающимся от смущения голосом спросил Гурдина Гурочка.

– Можно сказать – оба вместе. Моя пуля ему в заднюю ногу попала – бег его задержала, а Дмитрий Петрович в шею потрафил, в самое то место, где край доски.

– Удивительно сделано чучело – сказал Антонский, – неужели это в Туркестане работали?

– Это делал наш делопроизводитель по хозяйственной части. Он когда-то сопровождал самого Пржевальского в его путешествиях и делал для него чучела.

– Удивительная работа. Хотя бы и в столичный музей. Садитесь к столу. Кушайте елочные сласти. Так уж, говорят, полагается на елке.

Борис Николаевич пододвинул Гурдину свою тарелку с пряниками и мандаринами.

* * *

Только Шура заметила, как смутилась Женя, когда ее знакомили с офицером, и как точно всмотрелся в лицо девушки тот и тоже сильно смутился. И Шура искала случая спросить что-то у своей двоюродной сестры.

Елочные свечи догорали. То тут, то там взвивался голубоватой ленточкой сладко пахнущий дымок. В гостиной темнее становилось.

– Вот теперь и наступает самое время страшные рассказы рассказывать, – сказал Антонский. – Ну-ка, молодежь, кто что знаете? Выкладывай свои знания из чемоданов своего ума…

– Только надо, дядя, такие, – строго сказал Гурочка, – чтобы не придуманные, а чтобы и взаправду так и было. Дядя, уж вы, пожалуйста, и расскажите. Вы всегда что-нибудь знаете.

Ольга Петровна хотела пустить электричество.

– Мама… Не зажигай огня!.. Не разгоняй мечты! – продекламировала нежным голосом Женя.

В наступившей темноте Шура неслышными шагами подошла к Жене и взяла ее за руку.

– Женя, – чуть слышно сказала она, глазами показывая на Гурдина, – это?.. фиалки?..

Женя молча кивнула головой. В надвинувшемся сумраке Шура рассмотрела: как-то вдруг очень похорошела ее двоюродная сестра. Точно теплый ветерок ранним утром дунул на розовый бутон, брызнуло на него яркими лучами солнце – и он раскрылся в очаровательную юную розу. Нежные лепестки полураскрылись, и несказанно красиво блестит внутри капля алмазной росы. Таким алмазом вдруг заблистала набежавшая на синеву глаз Жени слеза волнения и счастья.

Последняя свечка в самом низу елки, последней ее зажгли, последней она и догорела – погасла, и в зале стало темно. Только в щели двери столовой пробивался свет. Там накрывали ужинать. В углу кто-то невидимый щелкал щипцами для орехов, и с легким звоном на блюдце падала скорлупа. Вдруг сильнее пахнуло мандаринами – Марья Петровна чистила свой за столом.

– Дядя Боря, уж пожалуйста, мы ждем, – просил Гурочка.

– Дядя Боря, – приставал Ваня.

– Папа, непременно, – раздался тоненький Нинин голосок от самой елки.

– Ну что же – vox populi – vox Dei…[2] – сказал Матвей Трофимович. – Приходится, Борис Николаевич, идти молодежи на расправу.

– Только, ради бога, не сочинять, – сказал Гурочка.

– Да что же?.. Я не отказываюсь… Так вот… Было мне тогда лет двенадцать. Ту зиму я проводил в имении моих родных в Псковской губернии. Как полагается, и у нас была елка. Ну, понаехали соседи. Из города приехали гимназисты, барышни, девочки. Весело было. Мы танцевали, пели, играли в разные игры и очень что-то долго засиделись под елкой. Погасли давно огни. Стало темно, на деревне стихли голоса и лай собак, как-то взгрустнулось, и вот тогда пошли те страшные разговоры о таинственном и непонятном, о колдовстве, о вурдалаках, о колдунах, о чертях, о привидениях. Тогда у нас было много этого таинственного, хоть отбавляй, это теперь все изучено, все известно, все отрицается. Тогда мы ничего не отрицали и очень многого побаивались. Тогда у нас и привидения водились, теперь они что-то перевелись, как перевелись, скажем, белые слоны и зубры. Мы знали, что в деревенской церкви на погосте стоял покойник. И покойник этот был не совсем обыкновенный. Это был деревенский кузнец, черный и страшный мужик, про которого говорили, что он с самим нечистым водится, что он когда-то был конокрадом, занимался душегубством, – словом, покойник был такой, что молчать про него в эти часы мы не могли. Каждый из нас еще так недавно зачитывался «Вием» и «Страшной местью» Гоголя и потому, когда заговорили о том, какой страшный покойник лежит в гробу в церкви еще неотпетый, все пришли в волнение и волна страха пронеслась по темной зале, где так же, как и у нас теперь, стояла догоревшая елка. Девочки ахали и вскрикивали, молодые люди бодрились и подкручивали несуществующие усы. Был среди нас один гимназист. Лет шестнадцать, должно быть, ему было. Звали его Ерданов. Он был то, что тогда называли, – «нигилист». Ни во что не верил, огорашивал нас презрением ко всему и своим неверием и насмешкой над самой верой в Бога. И стал он смеяться над нашими страхами. «Вздор, – говорит, – и никаких испанцев!.. Какой там покойник! Пять пудов тухлого мяса – вот и весь ваш покойник. Бояться его – какая чепуха!.. Никакой чистой там или нечистой силы нет. Церковь – пустой сарай с иконами. Лампады горят. А святости или там страха никакого нет, хоть там было бы двадцать, хоть сто покойников!» Кто-то из нас возьми и скажи ему: «Так-то оно так, Ерданов, однако ты со всею своею храбростью, со всем своим неверием и пренебрежением ко всему святому и таинственному не пойдешь в нашу церковь вот сейчас». «Кто? – говорит Ерданов. – Я-то? Да почему нет?» – и засмеялся нехорошим, искусственным таким смехом. – «А вот не пойдешь?» – «Пойду»…

[2] Глас народа – глас Божий.

Тут наши барышни разахались. – «Скажите, какой отчаянный». – «Да нет, это невозможно, я бы, кажется, жизни лишилась, а не пошла бы теперь в церковь»… – «Ужас какой». – «Господа, не пускайте его»… Ерданов совсем взвинтился. Надел пальто и шапку, повязал шею шерстяным шарфом. «Иду», – говорит. – «Один?» – «Ну, натурально, что без нянюшки…». – «А чем ты докажешь, что действительно ты будешь в церкви, где покойник?» – «Вы, – говорит, – мой нож знаете?» А был у него и верно всем нам известный перочинный нож о пяти лезвиях, в роговой оправе, коричневой в белых пупырышках. – Так вот, я этот мой нож в край гроба покойника и воткну, вы потом придете и проверите». Барышни опять хором: «Как это можно!.. Человек ума решился!.. Какой отчаянный». Ерданов еще раз показал нам свой нож и быстро вышел из дома. Как раз в это время часы на церковной колокольне стали бить двенадцать…

В прихожей резко и громко позвонили. В том напряжении, в каком все были, все вздрогнули. Мура вскрикнула: «Ах!».

– Будет тебе, Борис Николаевич, – сказала Марья Петровна.

– Это, наверно, Владимир Матвеевич вернувшись, – сказала стоявшая у дверей и слушавшая рассказ Антонского Параша и пошла отворять дверь.

– Какая досада!.. – сказал Гурий… – На самом интересном месте!

Ольга Петровна из столовой прошла в гостиную и направилась к прихожей встретить сына.

По прихожей, потом по коридору раздались твердые и быстрые шаги и громко хлопнула дверь.

– И к нам не пожелал зайти, – с тяжелым вздохом сказала Ольга Петровна.

– Тетя, я пройду к нему, – вставая, сказала Шура. – Это и точно становится невозможным. Мама, можно?..

Не дожидаясь ответа матери, Шура быстрыми и легкими шагами вышла из зала.

– Дядя, что же дальше?

– Папа, так нельзя, начал, так уже и досказывай. Что же Ерданов? У меня сердце за него бьется, – сказала Мура.

– Дальше?.. А вот слушайте, запоминайте и соображайте. Есть ли нечто, чего нам при всем нашем великом и пытливом уме не дано знать, или, как думал Ерданов, ничего нет?.. Ерданов вышел. Мы подождали минут пять. Но уже спокойно сидеть в комнате не могли. Нас потянуло за ним. Мы стали одеваться и поодиночке выходить на улицу. Церковь в ночной темноте выделялась среди низких деревенских изб. Чуть светились ее большие высокие окна с решетками. Робко, с остановками, все время прислушиваясь, мы шли к ней. Дверь была полуоткрыта. Толпой, держась друг за друга, мы подошли, и кто-то несмело окликнул: «Ерданов!» Эхо гулко отозвалось из церкви. Мы заглянули туда. На катафалке не было гроба… Покойник лежал на полу на ком-то – мы не сомневались, что на Ерданове, и точно впился в него.

– Что же случилось? – дрогнувшим голосом спросил Гурочка.

– Мы перепугались, врассыпную бросились от церкви, потом собрались и пошли к старшим, сознались во всем и сказали о том ужасе, который мы увидали в церкви. Теперь пошли с народом, со священником, с фонарями. И точно Ерданов оказался на полу. Покойник лежал на нем, по другую сторону лежал пустой гроб. В край гроба был воткнут нож, и этим ножом, как потом рассмотрели, Ерданов накрепко прихватил свой шарф. Значит, когда торопясь и в волнении Ерданов хотел уходить, – шарф его и держит. Он, вероятно, в смертельном испуге метнулся бежать, не понимая, в чем дело, и опрокинул гроб и вывалил покойника на себя.

– Что же Ерданов? – спросила Женя.

– Ерданов умер от разрыва сердца. На третий день Рождества мы его хоронили.

– Эта история напоминает мне, – сказал Гурдин, – нечто подобное, что я слышал от моего покойного отца. В одном из военных училищ умер, не помню уже кто, не то инспектор классов, не то начальник училища, генерал Ламновский, отличавшийся строгостью и имевший длинный нос. Юнкера ночью держали караул у гроба… Там также дерзкая шутка одного из часовых весьма плачевно для него окончилась…

– Расскажите!

– Непременно расскажите!

– Это было давно… Я плохо помню… Отец мне рассказывал… да чуть ли это где-то было напечатано. Это было еще когда! В восьмидесятых годах…

– В наше время, – сказал Антонский.

– Расскажите!.. Расскажите!.. Расскажите!..

– Боюсь, сумею ли? Вспомню ли все подробности?..

И, не чинясь, просто и ясно Гурдин начал рассказывать.

## X

Володя вернулся домой в необычайном волнении и возбуждении. Особенный и страшный для него этот день был. Недели две тому назад по поручению партии Володя на большом и нелегальном собрании рабочих громадного машиностроительного завода говорил о Карле Марксе, о борьбе с капиталом и о необходимости для рабочих быть готовыми к выступлениям и забастовкам. Собрание это было разогнано полицией. Как сейчас бывшую вспоминал Володя во всех подробностях эту напряженную зимнюю декабрьскую ночь. Когда он протискался через ожидавшую его толпу и неловко взобрался на площадку паровоза, стоявшего в углу мастерской, – море голов было под ним.

Сквозь большие круглые стеклянные матовые шары электрических фонарей яркий свет лился в громадный кирпичный сарай со стеклянной крышей паровозной мастерской. Подъемные краны, маховые колеса, вальки передач, широкие ремни, громадными удавами висевшие над головами, устья печей, кучи шлака, железных стружек, кусков чугуна – все громоздкое, необычное своими формами, неуютное, какое-то «апокалипсическое», прямолинейное, дерзновенное, машинное и потому не человеческое, и под всеми этими машинными гигантами люди, люди, люди, казавшиеся крошечными мурашами, ничтожной пылью. Толпа гомонила, придвигаясь к паровозу, на котором стоял Володя. Над головой сипели фонари. Вся эта необычность обстановки взвинчивала Володю, и он чувствовал, что сумеет сказать то, что нужно, и скажет с такой силой, что сами его товарищи удивятся.

Под Володей, у паровозных колес и у тендера, на скамьях уселись: председатель исполнительного комитета партии Малинин, члены – Гуммель, Балабонин и Крылатов, и у самых ног Володи сел на подножке паровозной площадки молодой Драч, рабочий, коммунист, который ввел Володю в партию.

В толпе Володя сейчас же увидел старика Далеких, члена партии с самого основания ее, разумного и крепкого человека, необычайно талантливого рабочего, мастера, который давно мог бы стать инженером, если бы не периодические запои, выбивавшие его из колеи жизни. Далеких, один из немногих партийцев носивший бороду, с умилением и какой-то покорностью смотрел на Володю. За ним стал его цех – все молодые рабочие, в примятых, сбитых на затылок картузах, с слюнявыми кручонками в зубах, с наглой усмешкой на бритых губах.

Власть слова. Сила и могущество партийного учения – все это капля за каплей наливало сердце Володи гордостью. На мгновение задумался – и голова закружилась от сладкого восторга. Кто он?.. Студент третьего курса, на плохом счету, забросивший занятия, не знающий жизни, ничего не умеющий делать «интеллигент», не понимающий назначения

этих самых машин, в сущности, кроме своего Карла Маркса ничего не знающий, – он становится учителем и вождем всей этой многотысячной толпы, создавшей и построившей и эту мастерскую, и эти машины, и тот паровоз, на котором стоит Володя и на котором он чувствует себя действительным вождем. Партия!!! Теплым током наполнялись жилы Володи, когда он думал о том, что ему дала партия! Все это люди, которые по его слову пойдут на что угодно – на преступление и смерть, на измену и низость или на величайший подвиг любви к Родине и к ближнему… Смотря по тому, кто поведет.

Володя не заметил, как тишина стала в мастерской. Толпа установилась, утряслась и ждала *слова*.

– Начинайте, товарищ, – снизу негромко сказал Малинин.

Володя охватил обеими руками паровозные поручни, нагнулся вперед и громко и с задором кинул в толпу:

– Товарищи!..

Гулкое эхо прокатилось по дальним углам мастерской и затихло. Толпа еще раз колыхнулась и подалась ближе к паровозу. Кое-кто впереди снял шапку.

Вихревая мысль пронеслась в голове Володи: «Какое это чудное, магнетизирующее слово – “товарищи!”»… Волна гордости пронеслась к сердцу Володи и затопила его. Вся эта масса людей – его товарищи? Слово спаяло Володю с ними. Он с ними, и они с ним.

Слова пошли сами собой. Мысль работала четко и ясно.

– Вы… большинство из вас, родились и воспитались в православной религии. Вас нарочно воспитывали, чтобы сделать из вас…

Тут была небольшая пауза. Прием показался самому Володе необычайно красивым.

– Рабов капиталистов!..

Звонким эхом отдались с силой сказанные слова.

– Христос говорит: «Кто из вас, имея раба пашущего по возвращении его с поля, скажет ему: “пойди скорее, садись за стол”… Напротив, не скажет ли ему: “Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить”»…[3] Вот чему вас учили… Служи господину своему… Священник с церковного амвона, учителя в школе учили вас исполнять ваш рабский долг и терпеть, терпеть, терпеть… Смирению учили вас, низкопоклонничеству.

Володя перевел дыхание и оглядел толпу. Далеких смело посмотрел прямо в глаза Володе и сказал громко, со вздохом:

– Христос терпел и нам терпеть велел.

Володя продолжал. Он напомнил притчу о минах, розданных рабам, и о жестоком господине.

– Долг!.. долг!!. Вам только – долг!.. Кому-то другому радости жизни, а вам обещание награды на том свете, которого, это теперь точно научно известно и обследовано, совсем даже и нет.

– Никто того не знает, – хорошо слышным шепотом прошептал Далеких.

Этот рабочий раздражал Володю. Он мешал ему сосредоточиться. Со злобой и ненавистью посмотрел Володя на него и продолжал:

– Кто пожалел рабочего в старом христианском мире?.. Никто… Рабочий – средство для капиталиста путем прибавочной ценности наживать себе деньги. Рабочий производит товар. Разве может он обменять товар на то, что ему самому нужно? Для этого нужен посредник, и посредником между одним рабочим, делающим один товар, и другим, производящим другой, являются деньги.

[3] Евангелие от Луки. Гл. 17, ст. 79.

Это был конек Володи – формула Маркса: Д – Т – Д, деньги – товар – деньги с прибавочной ценностью. Володе казалось, что тут все сказанное Марксом так ясно и неопровержимо, что стоит прямо говорить по книге, которую он местами зазубрил наизусть.

– В товаре – тайна… – вдохновенно говорил Володя. – Товар – это фетиш… Карл Маркс говорит: «Форма дерева при обработке изменяется. Из дерева сделали стол. Стол тем не менее остается деревом, обыкновенной чувственной вещью. Но как только он выступает в качестве товара, он тотчас превращается в чувственно-сверхчувственную вещь… Мозги рабочего тут начинают крутиться, как мороженое в форме»… «Стол не только стоит своими ногами на земле, но, в виду всех товаров, становится на голову, и его деревянная башка проявляет причуды более странные, чем если бы по собственному почину вдруг стал он танцевать»…

– Эва загнул – стол танцевать!..

– Господская глупость!

– Ни черта не понять!..

– Ну к чему это он?.. Ладно как говорил.

Володя вдруг понял, что тяжелое «пивное» остроумие Карла Маркса не дошло до русских рабочих, гораздо более остроумных и избалованных смелыми сравнениями и острыми, крепкими словами, но уже не мог свернуть с книги.

– Стол, – продолжал Володя, – можно продать. На эти деньги можно купить… Библию… или водку… Вот, что такое товар… Вот, что такое танцы стола. Стол уже не стол, а… Библия… или водка… Но есть вещи, которые сами по себе не суть товары – а продать их можно. Совесть… Честь… Они могут стать продажными для своих владельцев и, таким образом, через свою цену приобрести товарную форму.

– Да, – опять с глубоким, тяжким вздохом сказал Далеких, – нанялся – продался…

– Кто и совесть продает, – сказал молодой рабочий и ловко сплюнул замусоленную кручонку.

– Бывают такие ироды.

– Шкуры барабанные… Солдаты… Городовые… Морду наест, плюет, знай, на трудящего человека.

«Дошло», – подумал Володя и с силой продолжал:

– Маркс говорит: «деньги не пахнут». Каково бы ни было их происхождение, деньги всегда деньги.

– Народ говорит, – громко перебил Далеких, – чужое добро впрок нейдет. Краденые деньги – не деньги…

– Товарищи, – повышая голос, говорил Володя, – в тот угнетенный мир, где над рабочими, ссылаясь на Христа, измывались капиталисты, где их заставляли при помощи прибавочной ценности гнуть спину, где торговали людской честью и совестью, где гноили ваши семьи в невозможных жилищных условиях, где рабочие преждевременно умирали в тяжком, ничем не прикрытом рабстве, у капиталистов, в этот мрачный мир голодных и рабов, в мир пролетариата явился немецкий ученый Карл Маркс…

Опять Володя, подготовляя эффект, сделал паузу и со страшной силой выкрикнул:

– Он *пожалел* рабочего!

Глухой гул пошел по толпе, и Володя понял, что он в самом себе, в русских глубинах своей души нашел, наконец, нужное, доходчивое слово, что теперь он уже завладел толпою и может перейти к главной основной теме митинга – к вопросу о борьбе с капиталом, к вопросу о забастовках…

* * *

– Собственность – воровство!.. Война – грабеж, – исступленно кричал Володя. – Торговля – надувательство!.. Вот заповедные лозунги Карла Маркса. Вас зажали в тиски, вас загнали в щели, и вы из этих темных, смрадных щелей не видите прекрасного мира. Вас гонят на убой! Вас обманули, сказав, что любовь это главное, что в прощении обидчику правда… Вам сказали, что кто ударит тебя по правой щеке – подставь ему и левую – небось сами не подставляют!.. Вам говорят: просящему у тебя взаймы – дай и просящему проводить на одну версту – проводи на две… Вас не жалеют… Вас эксплуатируют… Все это неправда… Вздор… Ваше Евангелие – Карл Маркс, у него учитесь, у него находите силу сопротивления, у того, кто, повторяю один *пожалел* вас. Что же говорит он? Если собственность – воровство, восстань против собственности, отнимай ее, грабь то, что до тебя награбили!.. Если война грабеж – восстань против войны. Не позволяй воевать! Рабочие – вы сила! Не позволяй лить пушки, приготовлять порох, делать ружья. Если торговля надувательство – наступи торговцу на горло и не позволяй торговать… Все должно быть в ваших руках. Фабрики и инструменты… Власть и полиция. Распределение товаров. Объявите войну войне. Объявите войну собственности. Зорко следите, чтобы никому ничего лишнего не попало. Ваш контроль должен быть повсюду и без вашего разрешения никто ничего не может иметь. Свергайте власть, не жалеющую рабочих. Уничтожайте церковь, боритесь с религией. Стачки, забастовки, непрерывное повышение заработной платы – вот ваше оружие, ваши пушки, пулеметы, ваши сабли и штыки. Пора…

– Уже вы нам, будьте милостивы, укажите, когда и что начинать, – раздались голоса.

– Мы вам поверим, и мы с вами, как вы с нами!

– Вот сейчас… скоро Рождество… У людей будут елки, а у вас?.. Тот же холод и голод, та же нищета. Так пусть у всех будет одинаково. Пусть, если Христос родился – для всех одинаково родился… А если не так – не надо и самого Христа…

Володя чувствовал, как накалялась атмосфера, как сильнее дышали груди и чаще раздавались выкрики с мест.

– Веди нас!

– Побьем, погасим и самые елки! К чертовой матери буржуазные елки.

– Коли пожалел трудящего человека – мы тебе верим. Мы с тобой.

– Хотя и на расстрел за желанную свободу!

В эти мгновения величайшего подъема и разгара страстей вдруг кто-то сзади каким-то жалобным, заячьим голосом крикнул:

– Полиция!

Володя успел увидать, как широко распахнулись задние ворота мастерской, в темном их четырехугольнике показалось светлое серое офицерское пальто пристава, за ним толпа городовых в черных шинелях и сейчас же все фонари в мастерской разом погасли и кромешный мрак стал в ней.

Резкий голос раздавался из ворот.

– Эт-то что за собрание?.. А?!. Кто разрешил?.. Сейчас зажечь фонари! Никто ни с места! Проверка документов будет!

В темноте кто-то схватил Володю за руку и стащил его с паровозной площадки.

Володя очутился среди своих, среди членов исполнительного комитета. Кто-то, в темноте не было видно кто, вел их между каких-то станков, Володя спотыкался о рельсы, больно зашиб себе ногу о железный прут, узкая маленькая калиточка открылась перед ним, и он, а за ним и другие его товарищи вышли на свободу.

После мрака мастерской на дворе показалось светло. В глубоком снегу, среди сугробов лежал ржавый железный лом…

Их вывел молодой рабочий. Он тяжело дышал от волнения и сказал прерывающимся голосом:

– Самую малость, товарищи, обождите. Я схожу посмотрю, нет ли и за двором полиции.

Он исчез за вагонами, стоявшими на занесенном снегом пути. Они остались среди каких-то громадных паровозных колес, несколькими осями стоявших на рельсах. После нагретой толпой мастерской сразу показалось холодно. Володя поднял воротник пальто. Ноги его стыли в снегу.

В мастерской загорелись фонари. Стеклянная крыша осветилась. Ни одного звука не доносилось оттуда.

– Я знаю, кто нас выдал, – сказал Драч.

– Ну?.. – сказал Малинин.

– А Далеких… Рабочий. Я давно до него добираюсь…

– Далеких?.. Сомневаюсь… Он же старый партиец, – сказал с видимым неудовольствием Малинин.

– А по-моему – давно в охранной, – злобно сказал Драч.

– Зачем так говорите, – сказал Гуммель.

– Зачем говорю?.. Такому человеку просто голову надо совсем оторвать…

– Если надо будет, и оторвем, – хмуро сказал Малинин.

– Ты это докажи, – сказал Володя.

– Ты, как полагаешь, если который коммунист и говорит о Боге, правильный это коммунист или нет? – сказал Драч.

– Ну, по этому судить еще преждевременно. Многие товарищи путают социализм с христианством, – сказал Малинин.

– Он не путает, он проповедь такую ведет.

– Ты мне это докажи, Драч, – повторил Володя.

– Не сомневайся, так докажу, что своими ушами услышишь, какой он есть коммунист.

Из-за вагонов, и так неожиданно, что все вздрогнули, появился тот рабочий, который вывел их из мастерской.

– Что зазябли, поди, товарищи, – сказал он. – Идите, не сомневайтесь. Весь наряд внутри остался. Проверка идет. Славно я вас выведу.

По глубокому снегу двора гуськом молча пошли, часто шагая через занесенные снегом рельсовые пути. Вагоны кончились. Показался пустынный берег и за ним в сумраке морозной, хмурой ночи светлым простором лежала Нева. Чуть видны были желтые точки редких фонарей на противоположном берегу. Через глубокий прочный наст Невы наискось узкая шла тропинка пешехода. Маленькие елочки, косо воткнутые в снег, указывали ее направление.

– Пожалуйте, – сказал, останавливаясь перед переходом, рабочий, – прямо по ней на Охту попадете. С правого края держите осторожнее, там лед брали – так проруби будут.

– Спасибо, товарищ. Ввек не забудем услуги.

– Не на чем… Рад услужить, которые нашего брата на верную дорогу выводят.

Все по очереди пожали твердую мозолистую руку рабочего и пошли через Неву.

Когда дошли до проруби, остановились. Широким прямоугольником дымила паром перед ними парная прорубь. Большие, ровные куски вынутого льда красивыми хрустальными столбами стояли кругом. Было нечто влекущее в черной глубине, над которой воздушными видениями струился легкий, едва заметный пар.

Драч показал Малинину прорубь. Он продолжал, по-видимому, разговор, который они вели, когда шли вдвоем впереди всех через Неву.

– Куда проще, товарищ. И никому неведомо. Пойдем вчетвером – вернемся втроем. Это куда лучше, как священника Гапона вешали. Сколько шума и беспокойства людям.

– А всплывет?.. Выкарабкается? – хмуро сказал Малинин.

– Зачем?.. Да никогда никто не всплывает… Можно еще предварительно и фомкой оглушить. Ни пачкотни, ни мокрого дела. Ничего… Столкнули и айда дальше.

– Кто же исполнит, если понадобится?…

– Исполнит-то кто?.. Товарища Гуммеля попросим. Ну, я никогда не отказываюсь партии послужить… – Драч кивнул на подошедшего Володю. – Вот его обязательно надо привлечь, чтобы настоящий припой сделать к партии. Такое дело – навеки нерушимо. Не развяжешься.

Малинин вопросительно посмотрел на Володю.

В том приподнятом, восторженном настроении, в каком был Володя после своей, так неожиданно прерванной речи, на середине Невы, где ледяной задувал ветер, подле страшной тайны глубокой реки, – он не отдавал себе отчета, что происходит, о чем идет речь, он понял только одно, что вот ему надо показать свою преданность и верность партии и, когда Драч назвал его, он так же, как это сделал Гуммель, молча приподнял в знак согласия и повиновения свою смятую студенческую фуражку.

– Раньше все-таки судить будем, – сердито сказал Малинин и быстро пошел к чуть намечавшемуся в темноте низкому Охтенскому берегу.

Больше до самого расставания у трамвая никто не сказал ни слова.

* * *

Еще помнит Володя, как перед самым сочельником вызвал его Драч, и они пошли вечером к Сенной площади. Они подошли к одному из тех старых грязных громадных домов, которые стоят в углу между Сенной площадью и Горсткиной улицей и которые населены столичной беднотою. Они вошли во двор, засыпанный рыхлым растоптанным, никогда не убираемым снегом, едва освещенный тусклыми газовыми фонарями у мрачных подъездов, прошли по нему в угол и стали подниматься по грязной, пахнущей помоями и кошками лестнице. Тускло в каком то тумане светили небольшие газовые рожки. Железные перила были покрыты тонким слоем льда. На каждой площадке густо пахло отхожим местом, и желтая облупившаяся дверь вела в общую для всего этажа уборную. Они поднялись на пятый этаж.

– Здесь живет Далеких, – тихо сказал Драч и осторожно открыл незапертую крюком дверь. – Иди неслышно. Послушаешь хороших проповедей. Узнаешь, какие партийцы бывают. Малинин за него стоит потому, что они вместе в Шлиссельбургской крепости сидели. Мало ли кто, где и когда сидел, а потом и покаялся.

Осторожно ступая, они вошли в темную кухню и сейчас же услышали голос Далеких за дверью и первое слово, которое они услышали, было «Бог».

Драч дернул за рукав Володю и показал пальцем на дверь. Оба замерли и стали слушать. Говорил Далеких, кому-то что-то объясняя.

– Бога никто, никогда не видел и Его даже и нельзя видеть смертному человеку.

И тема, на которую говорил Далеких, и вся обстановка подслушивания казались страшными и таинственными Володе, и он навсегда запомнил темную бедную холодную кухню, тускло освещенную отсветами снега со двора, и ровный убежденный голос старого рабочего.

– Если ангелы, которых увидали мироносицы-девы на гробе Христовом, были светлы, как молния, и имели одежды белее снега, то как же сверкающ должен быть Бог?.. Если бы

смертный увидал Господа – он умер бы, и как же тогда он мог рассказать, какого вида Бог? Тебе непонятно?.. Изволь, поясню. Каким должен казаться человек маленькой, крошечной пушинке, каким перед ним является муравей. Вот надвигается на такого муравья гора не гора, а нечто ужасно громадное и страшное. То ли раздавит вовсе насмерть, то ли нагнется и поднимет и примет в сторону… Не Бог ли это для муравья? Возьми еще собаку. Она живет с человеком, она его знает. От него она видит свет, когда он зажигает огонь, от него она имеет тепло и корм. Когда зашибет она лапу, или заболит у нее что – она бежит к человеку на трех лапах и показывает ему больную, точно просит ее полечить. Не Бог ли это для нее? И все-таки и муравей и собака видят человека, потому что он перед ними во всем своем телесном естестве. А Бог – есть Дух. Понял теперь, что это такое? Как же не верить и как не бояться прогневать Того, Кто все самые даже наши помыслы знает?.. Постой… Не стучали ли на кухне?…

Драч тихонько взял Володю за рукав, и они быстро и бесшумно вышли на лестницу и стали спускаться.

Когда они были на дворе, Володя спросил Драча:

– Кто это был у товарища Далеких?

– А это Балабонин, знаешь, белобрысый такой, славный товарищ и убежденный большевик.

– Ты знал, что он у него будет?…

– Я же его к Далеких и послал, чтобы доказать тебе, что такое товарищ Далеких и что гадов жалеть не приходится.

– Но нельзя же уничтожать людей за одни только их убеждения?

– Тех, кто верует, именно надо уничтожать безо всякого сожаления, потому что это и есть самые опасные для нас люди. Да я другое на суд представлю. Не беспокойся, сумею достать и прямые доказательства. Да такие люди, как Далеких… верующие-то… они и запираться не станут.

Они вышли со двора и шли по узкой панели позади громадных железных корпусов Сенного рынка.

– А все-таки, – сказал тихо Володя, – Драч, мне не очень понравилось, что ты подстроил этот разговор о Боге и привел меня подслушивать. Мне эти приемы…

Драч не дал договорить Володе. Он искренно и громко захохотал.

– Брось, Владимир Матвеевич… Знаю, скажешь: шпионаж, подслушивание… еще скажешь – провокация!.. Брось эти буржуазные предрассудки… Оставь это для них. Помни: нам все… все позволено. И нет такой гнусности, на которую мы должны пойти, если этого потребует польза нашей партии. Так-то, милый чистюлечка… ну да увидишь, поработаешь с нами и поймешь, что нам все, понимаешь, *все позволено*!

Володя не нашелся, что возразить, он торопливо попрощался и пошел по Горсткиной улице, Драч пошел к Садовой на трамвай.

Володя ждал теперь сочельника, когда был назначен партийный суд над Далеких.

*** * ***

Часа в четыре, когда стало смеркаться, Володя подошел опять к тому же дому подле Сенной и смело поднялся к квартире Далеких. Он позвонил. Он знал, что Далеких предупредили и что тот должен ждать его.

Далеких сам открыл двери Володе. Он был по-праздничному прифранчен, в новом пиджаке, с ярким цветным галстуком и, как показалось Володе, навеселе.

Он поздоровался с Володей и, не приглашая Володю во внутренние комнаты, оставил его на кухне и прошел, чтобы одеться. Володя слышал, как Далеких говорил кому-то:

– Так елочку-то, мамаша, погодите зажигать до меня.

Володя ощутил на кухне слабый запах елочной хвои, так много ему напомнивший.

Далеких сейчас же и вышел. Он был в хорошей шубе и меховой шапке.

– Простите, товарищ, задержался маленько. Детей, жену предупредить надо было… Я всегда готов, если партийная нужда, заседание партийного комитета, я сам понимаю, без меня никогда не обойдутся. Товарищ Малинин мне – полное доверие… Тут, конечно, елка, семейные слабости, ну, полагаю, очень-то не задержимся. Я с открытою душою иду на такое дело.

Они вышли. Извозчик дожидался Володю.

– Я полагал на трамвае, – сказал Далеких. – Разве далеко куда?

– Да очень далеко, – сказал Володя и затем всю дорогу до Мурзинки они молчали.

Они подъехали уже в полном мраке к пустой даче, стоявшей совсем на окраине. Далеких засуетился и спросил теперь ломающимся неровным голосом:

– Не знаете, Владимир Матвеевич, о чем, собственно, речь будет?

Володя не ответил и пропустил Далеких вперед. Тот пошел неохотно, оглянулся на отъезжавшего извозчика и точно хотел повернуть назад, но потом махнул рукой и решительно вошел в двери.

Он увидал комнату, где посредине стоял стол и кругом несколько простых стульев и скамейка. На столе горело две свечи, поставленных в пустые пивные бутылки. В их неярком и печальном свете Далеких увидал сердитое лицо Малинина и весь комитет в сборе. Рядом с Малининым сидел Драч и перед ним лежала кипа каких-то бумажек. Еще заметил Далеких, что окна комнаты были не только заложены ставнями, но и занавешены суконными одеялами. Сквозь румянец мороза стало видно, как вдруг побледнел и осунулся Далеких… Но он сейчас же справился с собой и спокойно сказал:

– Здравствуйте, товарищи, коли чем могу услужить вам, я в полной готовности.

Малинин, мявший свою неровную черную короткую бороду, поднял глаза на Далеких и сказал ровным, негромким и преувеличенно спокойным голосом.

– Скажите мне, Далеких, с каких пор вы находитесь секретным агентом полиции?..

– Я?.. Да… То-ись?.. Как это?.. Не ослышался ли я?.. Я вас, товарищ, просто не понимаю…

– Хорошо… Я вам разъясню. Вы, вероятно, знаете, кто такое Домкрат?…

Лицо старого рабочего стало совершенно белым. Глаза потухли.

– То-ись?.. Домкрат?.. Это я, конечно, обязан даже знать… Это знаете, машина, чтобы, значит, поднимать.

– Вы отлично знаете, Далеких, что тут речь идет вовсе не о машине, а о человеке… О вас, Далеких… Это ваша кличка, под которой вы записаны в охранном отделении.

Далеких развел руками.

– Как перед Истинным!.. Нелепо как-то и странно!.. Такое заблуждение, можно сказать… Я вас, товарищ, неясно понимаю.

– Так я вам это разъясню, яснее белого дня станет вам, – сказал Драч и из кипы бумаг достал небольшой картон, с наклеенной на нем фотографией и, не выпуская его из рук, протянул к самому лицу Далеких.

– Это вам знакомо?…

Далеких тяжело вздохнул и низко опустил голову.

– Ну, вот что, Далеких, – сказал Малинин, – вы, когда вступали в партию, знали чем вы рискуете в случае измены?.. Вы человек не молодой, притом же в свое время пострадавший за убеждения и старый партийный работник. Нам хотелось бы знать, какая корысть заставила вас пойти на предательство?…

Далеких поднял голову и долгим, острым взглядом смотрел прямо в глаза Малинину. Тот опустил глаза. Далеких тяжко вздохнул.

– Что ж, – тихо сказал он. – Знаю, что кончено.

Он глазами обвел всех бывших в комнате, долго сосредоточенно смотрел на Гуммеля, Драча и на трех мало знакомых ему молодых людей в крестьянской одежде и прошептал:

– Пощады не будет.

– Вы это, однако, знали, – сухо сказал Малинин. – За сколько же вы нас предали?…

– Ни за сколько.

– То есть?…

– Сделал я это по убеждению… По чистой совести… Как убедился в том, где правда, где кривда.

– Вы нарочно вступили в партию, чтобы предать нас?…

– Ничего подобного. Вы же сами знаете. Я пошел в партию, потому что поверил, что она дает подлинное равенство и что любовь дает она нам. Я поверил, что Евангелие Господа нашего Иисуса Христа и социализм – это одно и то же. Я пошел в партию, потому что мне сказали, что она борется за бедных людей, чтобы освободить их и дать им лучшую жизню.

Он вздохнул и замолчал.

– Так… так… – поглаживая бороду, проговорил Малинин.

– Хорошо начата песня, однако, чем-то она кончится, – сказал злобно Драч.

– Известно чем, – с мрачным отчаянием сказал Далеких. – Я давно понял, что социализм – это не любовь, прощение, смирение, не поравнение бедных с богатыми и свобода, а лютая ненависть к высшим, злоба и желание уничтожить все, что выше тебя. Где этому предел? Я стану мастером – так меня за это уничтожить?! Босиканта, пьяницу, дурака стоеросового, лентяя, клопа сосущего – возвеличить – иди, властвуй над нами, владей, а чуть окреп и его – вали!.. Я все понял. Вы разрушаете… Они созидают. И правда у них.

– В охранной полиции, – сказал Драч.

– Да, и в охранной полиции. Они охраняют порядок, а вы?.. Там, если я виноват, – меня судить будут не так, как вы судите. Там суд праведный и милосердный. Там все, до самых глубин рассмотрят. Там и о семье моей подумают… Как, мол, ей будет без кормильца? Каково ей?.. Там за такое… Не повесят… Я много повидал на своем долгом веку. Меня товарищ Малинин до дна знает. Я с самим Владимиром Ильичом, когда он здесь был, беседовал неоднократно. Я Хрусталева-Носаря знал… И попа Гапона слушал… Все одно обман. Все равно подлецы, как и вы!.. Им – па-а-ртия!.. – А мне Россия!.. Вам Россия ничто – плюнуть и растереть, а мне она – ма-а-ть!.. Поняли меня… Вот, как понял я все это, тогда и сказал: нет, брат, тяжко ты виноват перед Родиной, что пошел в партию, так и не выходи из нее за наказание, а вреди ей. До самой смерти вреди ей! Разрушай диавольские ее планы… Теперь поняли, сколько я получил?.. Крест деревянный, да мученическую кончину, вот за что я старался.

– Если правда… И за то спасибо… Но идейный человек для нас опаснее, чем человек продажный. И ему казни не избежать.

– Это мне все одно… Ваш приговор мне известен… Податься мне некуда. Кричать – никто не услышит. Заманули меня – значит, и пропала моя головушка… Просить о милосердии – дело напрасное. Вы социалисты, у вас этого нет, чтобы виноватого помиловать.

– Из-за вас сколько народа пострадало, – резко и жестко выкрикнул Драч, – а вы…

– Из-за меня?.. Нет, это – ах, оставьте!.. Из-за меня самое большее, что в участке кто посидел или выслан был из Питербурха. А вы, знаю, не одного человека прикончили.

– Вы, Далеких, не заговаривайтесь. И нашему терпению конец может прийти.

– Возьмите того же Гапона… Пристава Медведева кто за Нарвской заставой пристрелил?.. А министра Плеве?.. Столыпина?.. Не вы, чай, убили?.. Не ваша шайка? Па-а-артия!.. Как понял я, что с вами смерть, ну и пошел я против смерти.

– А пришел к ней, – сказал Драч. Он весь трясся от злости, ненависти и негодования. – Благодари своего Бога, что мы еще разговариваем с тобою. Судим…

– Какой это суд!.. Тьфу!.. а не суд!

– Товарищи, удалите подсудимого, – сказал Малинин, – приступим к постановлению приговора…

Далеких как-то вдруг опустился и сказал едва слышным голосом:

– Кончайте только скорее.

* * *

Эти полчаса, что шло совещание, Далеких провел в темной комнате с двумя молодыми парнями рабочими, которые сидели по сторонам его на скамейке и ни слова с ним не говорили. Далеких иногда тяжело вздыхал и озирался, как затравленный волк. Потом его ввели снова в комнату, где был революционный трибунал. Он стал против Малинина и молча выслушал приговор. Он не противился, когда Драч с рабочими скрутили ему руки назад и завязали темным шерстяным платком голову и рот так, чтобы он не мог кричать. Потом его вывели из избы и повалили в низкие крестьянские розвальни, запряженные одною лошадью с колокольчиком и бубенцами на дуге. На него набросили рогожу, Гуммель и Драч сели поверх. Володя брезгливо примостился сбоку, и сани, звеня бубенцами, во весь скок маленькой шустрой лошаденки помчались к Неве.

Все было сделано быстро, решительно, и все было так слажено, что Володя и сам не понимал, как все это случилось. Когда они спускались на лед, Драч сунул Володе какой-то тяжелый предмет и свирепо сказал: «Держи!».

На Неве слезли с саней и пошли пешком. Гуммель и Драч крепко вцепились в рукава шубы Далеких и почти волокли его по снегу. Далеких мычал сквозь платок и пытался вырваться.

Долго помнил потом Володя: синее холодное небо и звезды. Влево, в стороне Шлиссельбурга, далекая, большая сияла, горела и сверкала одинокая звезда. Точно манила к себе. Володя посмотрел на нее раз и другой и вдруг подумал: «Рождественская звезда». Ноги у него точно обмякли. Холод пробежал по спине, и Володя приотстал.

– Товарищ Жильцов, где ты?.. – крикнул Драч. – Иди, браток, иди!..

– Иду… иду, – каким-то виноватым голосом отозвался Володя и догнал тащивших Далеких Гуммеля и Драча.

Все казалось Володе каким-то кошмарным сном. Над заводом яркое горело зарево доменных печей. Вправо в полнеба разлилось голубоватое сияние уличных петербургских фонарей. На снегу было совсем светло.

– Ну, встретим кого, что скажем? – вдруг испуганно сказал Гуммель.

– Пьяного ряженого ведем, – наигранно бодро ответил Драч. – Да кого черта встретим теперь? В Рождественскую ночь?.. Елки-палки!.. Ну увидят люди… А сколько этих людей?.. Кто узнает? Пошло четыре – пришло три.

Прорубь не дымила паром, как в ту ночь. Она была подернута тонким в белых пузырьках ледком.

– А не удержит? – спросил Гуммель.

– Володя, ткни ногой, попробуй, – сказал Драч.

Володя послушно подбежал к проруби и, держась за елку, толкнул лед каблуком. Лед со звоном разлетелся. Черная булькнула вода.

– Тонкий, – сказал Володя.

Голос его дрожал. Озноб ходил по телу.

– Володя, вдарь его по темячку. Два разб…

Володя сжал в кулак то тяжелое, что дал ему Драч, и замахнулся на Далеких. Гуммель сбил шапку собачьего меха с седых волос. Володя ударил Далеких по голове. Он почувствовал неприятную, жесткую твердость черепа и больно зашиб пальцы. В это мгновение Далеких, освободился от платка и закричал звонким, отчаянным голосом:

– Спаси-ите!..

– Не так бьешь, – свирепо крикнул Драч. – И этого не умеют!

Он оставил Далеких и, выхватив из рук Володи фомку, с силой ударил ею по виску старого рабочего. Володя услышал глухой стук и треск. Далеких покачнулся и как-то сразу осел на колени.

– Тащи его!.. тащи!.. подталкивай, – возился над ним Драч. – За руки беритесь!.. Дальше пихай!.. На самую на середину.

Длинное тело Далеких скользнуло по льду и, ломая его, с треском и шумом погрузилось в вскипевшие волны Невы. На мгновение седая голова показалась над черной водой и страшный, приглушенный крик начался и сейчас же и замер у края проруби.

– Спаси-ии!..

– Какое сильное течение, – отдуваясь, сказал Драч. – В раз подлеца подхватило. Теперь он уже подо льдом… До весны не всплывет, а и всплывет – никому ничего не скажет.

Он обошел прорубь и заглянул с низовой стороны.

– Утоп… Да шуба же тяжелая… Намокла и потянула книзу… Жалко что не сняли? Хорошая у него была шуба.

– Шапку куда девать? – спросил Гуммель, поднимая со снега шапку Далеких.

– Возьми на память… Чисто сработали… Идемте, товарищи. Пошли четверо, а пришли трое, ну-ка, угадай загадку… – оживленно, точно пьяным голосом говорил вдруг развеселившийся Драч и быстро зашагал от проруби.

Володя и Гуммель пошли за ним.

## XI

Когда уже в городе прощались, Драч с ласковой фамильярностью сказал:

– Да куда ты, Володя?..

– Я домой… спать.

– Ну что – домой… Елки-палки! Поезжай, братику, с нами к девочкам. После такого дела всегда погулять хорошо. Встряхнуться.

Володя наотрез отказался. Гуммель и Драч подрядили извозчика, Володя дошел до остановки паровой железной дороги, шедшей к Невскому, и скоро добрался до дома.

Его сознание работало смутно и плохо, как во сне. Входя в ворота, Володя подумал: «Да ведь это я человека убил?.. Рабочего Далеких! Которого дома ждут жена, дети и… елка!.. Теперь уже не дождутся».

Володя прислушался к себе. Угрызений совести не было, и это порадовало его. Значит, недаром он провел эти три года в партии большевиков – ему удалось утопить в себе совесть. Нервы стали крепкими… А вот не смог «к девочкам» поехать. Захотелось быть одному. Когда проходил под воротами своего дома, вдруг представил Гуммеля и Драча. Зал ярко освещенный. Тапер на пианино наяривает. Нарядные, бесстыдно обнаженные ходят по залу женщины. Говорят, или, может быть, это Володя где-нибудь прочел, что преступников и убийц всегда после преступления охватывает страсть. Темный голос животного инстинкта зовет к продолжению жизни тех, кто только что незаконно пресек чью-то чужую жизнь.

Володя опять проверил себя. Нет, совесть была спокойна. Этого не было. Осталось лишь брезгливое ощущение удара по чужой голове. Когда вспомнил об этом, заныли застуженные на морозе пальцы. «Да, человека убил… Кто поверит?.. Как клопа, как вошь… как гадкое насекомое… Когда Бога нет – все это очень просто. Прервал один химический процесс и начал другой… Там… под водой».

Володя поежился под теплым ватным отцовским пальто.

«Никто не видал… А если? Нехорошо, что был на квартире Далеких. Его жена могла в щелку приметить… Впрочем, она его не знает… Студенческая фуражка… Студенческая фуражка… Фу, как это было глупо ее надеть!..» Ответственности перед людьми, перед судом Володя боялся, – ответа перед Богом – нисколько.

Бога не было – и потому просто и легко казалось ему и самое убийство.

Володя посмотрел со двора на окна отцовской квартиры. В зале было темно. Значит, елку уже погасили. Может быть, уже и разошлись. Вот хорошо-то было бы! Никаких расспросов, разговоров, соболезнований, упреков, что не пришел на елку. Семейное торжество!.. Фу! Какая пошлость! Соболезнования! Вот, если им сказать, что он сейчас сделал, – вот когда пошли бы настоящие соболезнования, упреки и какой это был бы для всех непревзойденный ужас. Человека убил!.. Наш Володя!!

На дворе было тихо и безлюдно. Наискось от ворот по асфальту была разметена дорожка и черная полоса ее была четко видна на плохо освещенном дворе.

Дверь открыла Параша. Володя еще за дверью слышал мерный голос дяди Бори. Потом там смолкли. В ярко освещенной прихожей Володе бросился в глаза большой деревянный ящик в ободранной рогоже, веревки, бумага и стружки. Как нечто наглое, дерзновенное и угрожающее висело на вешалке серое офицерское пальто с серебряными погонами и фуражка с красным околышем. Они странно напомнили Володе ночь митинга в паровозной мастерской, когда Володя, прерванный на полуслове, увидал ворвавшуюся в мастерскую полицию. Володя не спросил у Параши, чье это пальто. Он с отвращением отвернулся, сбросил на руки Параши шляпу и верхнее платье, снял калоши и торопливо пошел в свою комнату.

Быть одному!..

Он зажег лампу под зеленым, бумажным абажуром на своем письменном столе и вытащил с полки, висевшей на стене над столом тяжелую книгу в черном коленкоровом переплете – «Капитал Карла Маркса»…

– «Когда все – до последнего уличного мальчишки – будут пропитаны марксизмом – тогда к этому не придется прибегать… А до тех пор – борьба!.. Не на жизнь, а на смерть. Их больше, за ними государство, церковь, полиция, войско – нам остается только быть непримиримо жестокими… Нервы?.. Ф-фа!.. У настоящего большевика не должно быть нервов! Я новый человек… Человек будущего».

К нему постучали, и милый Шурин голос раздался за дверью:

– Это я, Володя… Шура… К тебе можно?

– Пожалуйста.

Володя не встал навстречу двоюродной сестре, но остался сидеть за письменным столом над «Капиталом» Маркса. Строгость и сухость легли на его лицо. Оно как бы говорило: вот вы там разными глупостями занимаетесь, «елки-палки», чепуха, ерунда разная… А я тружусь, учусь!..

«Елки-палки» напомнили почему-то Драча, и Володя с каким-то совсем новым чувством посмотрел на Шуру. Точно первый раз увидал ее не двоюродной сестрой, серьезным товарищем, но женщиной.

Шура, оживленная радостью всем сделать подарки, точно впитавшая в себя свет елочных свечей и вместе с тем негодующая на Володю за его пренебрежение к семье, вошла в кабинет и плотно затворила дверь.

– Володя!.. – сказала она. – Это невозможно!.. Вся наша семья собралась вместе. Твои папа и мама… Сестры, братья… Как ты только можешь?.. Неужели ты не понимаешь, что своим отсутствием ты их оскорбляешь?.. Твое равнодушие просто жестоко… Володя!..

Она вошла из темного коридора, и у нее глаза еще были темные и огромные. Понемногу от света лампы точно вливалась в них глубокая синь. Золотистые волосы, красиво убранные, червонцем блистали в изгибах. Под тонкой материей платья молодая грудь часто вздымалась и стала видна соблазнительная ее выпуклость. Длинное белое платье необычайно шло к ней. Сладкий запах духов, молодости и свежести, запах елки и мандарина шел от нее. И снова вспомнились Драч и Гуммель и дом, куда они поехали… «Елки-палки»!..

– Володя, как хочешь, но ты должен выйти к нам. Там все свои.

– Там тоже еще офицеришка какой-то торчит. Тоже свой?..

– Да, свой. Он от дяди Димы привез подарок… Голову кабана. Пойди, познакомься с ним. Посмотри наши подарки тебе.

– Совсем неинтересно.

– Володя!.. Твоей маме это так горько!.. Она не могла сдержать слез, когда ты прошел мимо.

– Садись, Шура. Поговорим серьезно.

Девушка спокойно подошла к столу и послушно села в широкое кресло, обитое зеленым репсом, стоявшее в углу комнаты подле письменного стола.

– Ты, Шура, верующая… И ты знаешь Евангелие наизусть. Помнишь это место: «Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери и жены и детей, и братьев и сестер, а притом самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником»…[4]

Шура была ошеломлена. Быстрым движением она схватила руку Володи и, сжимая его пальцы, сказала:

– Нет!.. нет!.. Не надо, Володя! Нельзя играть так словами. Что ты говоришь? Не в монастырь ты идешь. Не так это надо понимать!.. Нельзя ненавидеть родителей!.. Никого нельзя ненавидеть! Христос повелел всех любить… Боже мой, что ты сказал.

Ироническое выражение не сходило с лица Володи. Казалось, он любовался смущением Шуры.

– Да… Конечно, в *ваш* монастырь я не пойду. Но я хочу уйти… и я и правда уйду из вашего мелкобуржуазного мира… И я сумею его до конца… до дна возненавидеть… Ты знаешь?.. Я тебе это говорил… Я в партии. Я от тебя этого не скрывал и не скрываю. Да, в партии, которая борется и ненавидит все это – *ваше*!.. Я в партии и уже навсегда, бесповоротно… А у меня – дед протопоп какого-то там собора!.. Ты понимаешь это!.. Нет?! Проклятие крови на мне! И я кровью… *кровью* стираю… *Кровью* стер это. Понимаешь – к черту!.. К черту все это!.. Елки!.. Религию!.. Чепуха!.. Маркс… – Володя хлопнул рукою по переплету книги, – Маркс говорит: «Каждый исторический период имеет свои законы», и мы вступаем в такой, когда надо сбросить с себя все путы… Я уже вступил. Никаких угрызений совести!.. Никакой слабости!.. Нервов!.. Родители! Ф-фа!! Елки-палки!

– Володя, – стараясь быть сдержанной и совершенно спокойной, сказала Шура. – Ты мне давал читать эту книгу. Я ее хорошо и внимательно прочла… Просто – глупая книга. И мне странно, что она так на тебя повлияла. Ты же в нашей семье считался всегда самым умным.

– Вот как!.. Глупая книга! «Капитал» Карла Маркса – глупая книга!

---

[4] Евангелие от Луки. Гл. 14. С. 26.

– Ну да, конечно… Немецкий еврей, никогда ничего не видавший… Теоретик… Ненавидящий мир и природу придумал все это… Это мертвое!.. И вы верите!.. Учитесь!.. Боже мой!.. Володя!.. Что же это такое?

– Прекрасно!.. Александра Борисовна Антонская умнее Фридриха Энгельса, Петра Струве – всех толкователей и почитателей Маркса…

– Не умнее, Володя, но проще… Ближе к жизни…

Шура наугад открыла книгу и, прищурив прекрасные глаза, прочитала:

– «Меновая ценность есть вещное выражение определенного общественного производственного отношения»… Господи!.. Тяжело-то как!.. Точно телега с камнями по песку едет и скрипит неподмазанными колесами. Ты сам-то понимаешь это?.. Я – нет…

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.